

ПЕТР АЛЕШКОВСКИЙ

**ВЛАДИМИР  
ЧИГРИНЦЕВ**

# Петр Маркович Алешковский Владимир Чигринцев

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=51342651](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51342651)*

*Вагриус;*

## Аннотация

Петр Алешковский (1957) называет себя "прозаиком постперестроечного поколения" и, судя по успеху своих книг и журнальных публикаций (дважды попадал в "шестерку" финалистов премии Букера), занимает в ряду своих собратьев по перу далеко не последнее место.

В книге "Владимир Чигринцев" присутствуют все атрибуты "готического" романа – оборотень, клад, зарытый в старинном дворянском имении... И вместе с тем – это произведение о сегодняшнем дне, хотя литературные типы и сюжетные линии заставляют вспомнить о классической русской словесности нынешнего и прошедшего столетий.

# Содержание

Пролог	4
1	4
2	6
3	9
4	13
Часть первая	16
1	16
2	22
3	29
4	38
5	44
6	51
7	56
8	62
9	69
10	73
11	77
12	84
13	89
Конец ознакомительного фрагмента.	90

# Петр Алешковский Владимир Чигринцев

## Пролог

### 1

22 марта 1774 года генерал Голицын взял Татищеву. Пугачев бежал к Сеитовской слободе, сжег, посекал, разорил на лету и через Сакмарский городок проследовал к Берде, тщаась с наскоку овладеть осажденным Оренбургом.

Славные драгуны полковника Георгия Ивановича Хорвата преследовали самозванца по пятам от самой Татищевой. Пугачева спасли ходкие калмыцкие кони, глубокий снег и местные проводники.

Вооружена его сволочь была кое-как – кто копьем, кто дротиком и стрелами, кто пистолем и офицерской шпагой, – топоры на длинной рукояти, штыки, наткнутые на длинные палки, а и просто дубины почитались у них серьезным оружием.

В Бердской слободе захватили архив самодержца во «дворце» – доме казака Ситникова.

Попалась и сама «императрица» – Устинья Петровна.

Изучающий похотливый взгляд генерала Голицына, хамское гиканье солдатни предвещали ей близкие муки. Красивая, богато одетая в привозные шелка и парчу, с потухшим взором, страшилась она и дальнего справедливого суда за грехи разбойного муженька, закабалившего ее против девичьей воли.

Тот вскоре был крепко бит на Каргальской дороге, потерял пушки, войско и бежал к Пречистенской, а далее на уральские заводы с четырьмя случайными душегубцами. Бросил всех и вся на произвол судьбы, в том числе подлых своих атаманов Шигаева, Почиталина, Падурова и других, взятых спешно в строгие скovy, к великой радости победителей.

Оренбург был освобожден. Жители, вчера еще молившиеся на кусочек мороженой конины, но радующиеся и мучной болтушке, сегодня, не веря чудесному избавленью, с плачем и криками расхватывали ввозимый в город дармовой хлеб и солонину. Колокольный звон на морозном воздухе катился далеко по притихшей степи.

Днем позже снятия Оренбургской осады хорватовский поручик князь Сергей Дербетев с отрядом конников возвращался к Берде, гоня впереди пеший полон. Разбросанные по степям волчьи стаи изменников драпали в разные стороны – их ловили сотнями и свозили на расправу в крепость. Дело близилось к вечеру.

Вдруг впереди на взгорок выскочили верховые. Молодой Дербетев привстал на стремянах, считая головы.

– Девять их, и кони устали, позвольте взять? – предвкушая легкую поживу, взмолился казачок из переметнувших-ся.

Поручик радостно кивнул. «Четверо за мною, вперед!» – скомандовал нервным фальцетом, бросая коня в галоп.

Сперва гнали по дороге – пугачевцы решились удирать. В озлоблении, наехав на троих отставших, порубили сплеча. Двое других попались через четверть часа – были опрокинуты передовыми и добиты выслуживающимися перебежчиками. Четверо оставшихся бросились врассыпную по целине.

– Я сам, сам, берите прочих! – крикнул в запале Дербетев, наметив в степи далее всех ушедшего казака. Лошадь того была статная, атаманская, не запаленная, – князь не сомневался в исходе погони.

Не рассчитал он одного: чуя гибель, холоп гнал коня

всмертную, колот круп дротиком, вознамерился уйти во что бы то ни стало. С полчаса продирались сквозь дикий снег, порой лошади вязли по брюхо. Холод степи не ощущался – распаренные люди и животные берегли дыхание из последних сил.

Преследуемый целил на бугор к одинокому дереву, и коли поспел бы туда раньше, мог занять удобную диспозицию, но лошадь на подъеме сдала. Тогда он закричал по-татарски визгливо и страшно и принялся колоть исступленно, глубоко раня животное. По крупу несчастной заструилась кровь, лошадь странно закашляла, задавилась удилами, просела на задние ноги и наконец, задрожав всем телом, свалилась на бок. Казак проворно откатился по снегу, перехватил дротик, пустил его в нависающего офицера. Острие впилось глубоко в ногу, князь завопил от резкой боли и, не сознавая себя, в отместку начал крошить упавшего на колени, прикрывающегося рукавами мужика.

– Пощады, пощады, Христа ради! – донеслось из середины свалывшейся волчьей шубы. – Пощады! Озолочу, все отдам за жизнь, пощады, ваше благородие!

Но весь ход погони, все зло, вся острая боль от раны, весь безгливый страх к катающемуся по снегу, воющему теперь подлецу, как и в конце загонной охоты, требовали крови. Князь рубил с седла, а после сорвался с коня, рывком доскочил до посеченного, двумя руками, как колом, замахнулся клинком и пригвоздил раненого к земле.

Тот дернулся раз и отвалился на спину. Лицо, залитое кровью, порванное в клочья, было страшно: язык путался в распухшем рту, блеснул в черном провале зуб, умирающий выдохнул через силу: «Не пощадил... в поле погиб... волкудлаком к тебе приду!» Затрясся, захрипел уже нечеловеческими звуками, завертелся волчком на кровавом снегу и затих у ног потрясенного Дербетева.



Поручик стоял над трупом, не решаясь обыскать. Колено болело, нога почти отнялась. Рана как бы оправдывала убийство. Он проковылял к дереву, обломил нижние ветви, запалил костер. Взмыленный конь стоял по ветру в стороне, ноги его ходили ходуном. Сесть сейчас в седло означало бесславно сгнуться обоим в степи недалеко от спасенного Оренбурга.

Первым делом Дербетев перетянул ляжку, остановил кровь, наложил повязку на рану. После, сломив сук на костыль, добрался до окоченевшего трупа, сорвал шубу, стараясь не глядеть в страшную рожу, обыскал разбойника, непрерывно творя молитву. На шее татя на грязном свином шнурке сыскался ключ. Он толкнул труп, и тот медленно сполз по снегу и исчез в темноте оврага.

В переметной суме нашлась фляга с водкой, кусок солонины, сухарь, какой-то свиток бумаги и завернутый в кошму ларчик искусной басурманской резьбы с медными оковками и восседающим на литой ручке гордым кречетом.

Ларчик был мал, да тяжел. Кое-как доперев его до огня, рвя зубами от куска солонину и запивая водкой, Дербетев прочитал послание.

*«Всеавгустейшей, дер великой государыне, императрице Устинье Петровне, любезнейшей супруге моей, радоватися*

*желаю на нещетны лети!*

*О здешнем состоянии ни о чем другом к сведению вашему донести не нахожу: по сие течения со всею армеею все благополучно. Напротиву того, я от вас всегда известного получения ежедневно слышать и видеть писанием желаю. При сем послано от двора моего с подателем сего казаком Кузьмою Фофановым сундуков за замками и за собственными моими печатями, который по получению вам, что в них есть, не отмыкивать и поставить к себе в залы до моего императорского величества прибытия.*

*А особливо прошу беречь ларчик медяной бусурманский с кречетом за печатями моими запечатаной и за ним глядеть и вблизи держать и не отмыкивать.*

*А фурман один, которой с ним же, Фофановым, посылается вам, повелеваю, распечатав, и что в нем по описи состоит, принять на свое смотрение. О чем, по получению сего, имеете принять и в крайнем смотреии содержать. А сверх сего, что послано съестных припасов, тому при сем предлагается точной регистр.*

*В прочем, донеся вам, любезная моя императрица, и остаюся я великий государь».*

Снизу приложена была круглая большая печать. Фофанов ли Кузьма лежал сейчас погубленный в овраге или кто другой, вряд ли теперь можно было разгадать. Мародерничали мужички или скрывали самое драгоценное, ясно станови-

лось одно – ларчик с кречетом был из письма самозванца.

Горя нетерпением, забыв на минуту про боль, Дербетев вставил ключ и отворил крышку. Ларчик был полон самоцветов, и таких, что в жизни своей он не видал. Потрясенный, глядел Дербетев на камни, холодно горящие в отблесках костра. Потомок татарских мурз, владелец заложенного костромского именища был теперь богат на всю оставшуюся жизнь. Да что сам – на роды родов должно было хватить содержимого. Он спешно затворил сундучок, закатал в кошму, утолкал в суму, но встать не хватило сил – тело ему не повиновалось.

Нога раздулась и онемела. Конь не пошел на свист хозяйна, затравленно косил глазом, сек хвостом и вскорости, тяжело, по-женски вздохнув, потрусил в поле и растворился в надвигающихся сумерках.

Морозная ночь покрыла степь. Тучи неслись по небосводу, предвещая верную метель. Полная луна сияла начищенным рублем из рваных прогалов. Вокруг нее в небесах разливался больной красно-коричневый отсвет. Дров на ночь не доставало. Залезть на дерево, наломать ветвей он не мог. Лег на окровавленную волчью шубу, подложил под голову суму с сундучком, устался на костер. Кровь прилиwała к голове, заволакивая глаза туманом, лицо запылало, как уголья в печи. Начинался жар.

Через час, бредящего и бессильного, его подобрали драгуны Хорвата, уже было отчаявшиеся разыскать своего ли-

хого командира. Свет костра привлёк их внимание, даровал  
Дербетеву жизнь.

Оставленный в оренбургском лазарете, два месяца боролся он с костлявой. Метался в бреду на топчане, вопил истошно и жалостно, призывая Ангела-хранителя защитить от упыря, сосущего по ночам его кровь, и наконец, Божьим промыслом, немного оклемался и вошел в разум.

Болезнь превратила князя в настоящий скелет с воспаленными, ввалившимися, полубезумными глазами. Нога гнила и никак не заживала. Комендантская комиссия признала поручика безнадежно больным и отправила помирать в родовое, списав из драгунского полка, как значилось в документе, по причине неослабной лихорадки, ломы в костях, фистулы и горячки.

Двадцатичетырехлетний полумертвец добрался до Костромы на перекладных к концу благодатного лета. Год еще он отходил, отпивался травами, жарился баней, зашептывался знахарями и, частично восстановив здоровье, остался хром и нелюдим на всю жизнь, заслужив у окрестных помещиков кличку «шалый князь».

Жил он на отшибе, прикупил в лесу земель вокруг своей деревушки Пылаихи, возвел там каменный дом и крепкую церковь с трапезной и колокольной. В крестьянские дела не вникал, позволяя приказчику нещадно себя обворовывать. Общался больше с темными мужиками – то ли охотниками,

то ли колдунями.

«Шалого князя» боялись как огня – встретить его, бродящего с волкодавом и охотничьим ружьем в лесу, считалось дурной приметой.

К сорока годам он неожиданно женился на бедной дворянской сироте Чигринцевой и, поговаривали, муштровал ее, как кавалерийского новобранца. Дворовые хозяйку жалели.

Через год родился первенец Павлуша. Но сын не изменил привычек «шалого князя», более, тот стал совсем нелюдим, на свою половину никого не допускал, спал ночью при свече, по-прежнему бродил по лесам, охотясь в основном на волков. Шкуры их неизменно раздавал крестьянам, чем хоть и был хорош.

Однажды, по мартовскому снегу уйдя на лыжах в лес, князь запропал. К ночи завела унылая метель, переросшая в злую бурю, – трое суток нельзя было высунуть наружу носа. На вторые сутки собака приплелась домой одна, скулящая, голодная и прибитая, что с матерым волкодавом никогда прежде не случалось.

Когда бросились искать, нашли его висящим на сосне недалеко от дома в Падушевском овраге. Место прокляли, хозяина схоронили в склепе в церковной ограде, приписав смерть лихим людям. Любимая его собака вскоре исчезла.

Зато в округе стали замечать по ночам белогорлого худющего кобеля, коего местный колдун определил как оборот-

ня. Пытались стрелять его серебряной пулей, но не достали.

В Падушевском овраге на полную луну слышали мерзкий волчий вой, и вконец напуганная молодая мать Дербетева заказала особую читку. Молитвы сделали дело – вой прекратился, а белогорлая собака как сквозь землю провалилась.

# Часть первая

## 1

Традиционную утку с антоновкой и Татьяниного сбора бобрянской брусникой смолотили в один присест. «Многие лета», стройно пропетые профессору Павлу Сергеевичу в начале торжества, и теперь еще порой шутейно вспыхивали в разных концах стола, но, не подхватываемые всеми, так же и затихали, – гости пресытились и занялись фруктами. Смаковали заморские ликеры, настоящие, купленные, как и все изобилие, Ольгой Павловной на валюту в хорошем магазине. Сам Профессор куда-то отлучился.

Главной темой застолья был домовой, разбивший любимую Ольгину супницу, и как бесплатное приложение к нему – римлянин Кашпировский, зарядитель воды Чумак, воскрешитель трупов Лонго и мелкие феи и «православные» целители от Вельзевула. Ларри Коре, американский славист и Ольгин муж, возбужденный и счастливый, с детства знающий цену телевизионным кудесникам, наслаждаясь последними российскими деньками, изливался в любви Аристову и Волюшке Чигринцеву под неизменную «Столичную». Клялся прислать по факсу – и немедленно – статью о казаках в собираемый загодя юбилейный профессорский сборник.



В десятых числах необычно жаркого сентября на террасе большой подмосковной «академической» дачи заканчивалось чествование семидесятивосьмилетия Павла Сергеевича, заканчивалось чинно, традиционно хлебосольно, как все, что делалось в доме Дербетевых.

В конце шестидесятых (кто теперь вспомнит) ученый, писавший дотоле в основном о социально-экономической истории России, резко сменил стиль. На строгом худом лице проступило происхождение, на мизинце поселился родовой сердолик-печатка в рыже-золотом ободке. Павел Сергеевич занялся персоналиями осмнадцатого столетия.

Документ ожил. Направляемый умелой рукой ученого стилиста, вынырнул и задышал портрет. Личность сближала века, намекала подтекстом на то, что едва различимым зародышем пряталось в сухой идеологизированной экономике прошлых академических штудий. Его книги имели успех как здесь, так и за океаном. Возникла небольшая полуопальная школа, создавшая перво-наперво особый элитарный язык: старомодно галантный, полный неподдельного веселого юмора и скрытых цитаций, коими блеснуть почиталось за честь, — язык сообщества позволял с ходу вычислить и отделить своего от чужого, «непосвященного». «Птенцы гнезда Дербетева», упиваясь игрой, прощали шефу все ради истинных знаний, даже патриархальное самодурство и желчность, столь отличные от холопского сибаритства потомственных паркетных холуев.

Демократичные американцы ценили архивные знания, точное слово и начитанность Профессора не менее его отмененного историей титула, звали наперебой читать лекции, но Павел Сергеевич ссылался на лень и не изменил Отчизне ни разу. Зато когда дочь его Ольга в восемьдесят третьем вышла за стажировавшегося у Профессора Ларри Корса (он же Ларион Корсунский – из первой волны), когда ректорат затерзал Павла Сергеевича вызовами и разбирательствами, он проявил жесткость, не поддался, не уступил ни пяди. Победно-презрительно язвил, в перестройку вышел из партии, отослав билет по почте, и доживал теперь с младшей Татьяной, полностью им закабаленной после смерти жены, много работал за столом, оставив в университете узкий спецкурс, выросший из потайного «кухонного» кружка шестидесятых. Чужая время, он спешил: Екатерина Вторая – Просветительница одна занимала его внимание всерьез.

Профессор вышел на террасу, как только он и умел, вроде незаметно, несуетно, но значительно ступая, исподлобья обозрел присутствующих. В руках держал перевязанную лентой коробочку темно-зеленого фетра. Сразу пала тишина. Когда напряжение достигло высшей точки, опустился в кресло и, не глядя ни на кого отдельно, начал по существу, уверенный, что каждое слово услышат и запомнят.

– Мне скоро помирать, господа, факт. Значит, нет больше смысла хранить семейную тайну. Люди здесь не чужие, сына мне Бог не дал, но даровал девчонок, коими я порой весьма

бывал доволен.

Вы знаете, что родовое наше – Пылаиха – с шестидесятих не существует как деревня. Знаете, что есть у меня домик в Бобрах, в пятнадцати километрах. Поселились мы там так.

В тридцать пятом после перековки на заводе «Серп и молот» я поступил в ИФЛИ. Жениться случилось поздно, уже после войны. Вера Анисимовна и уговорила меня съездить в Пылаиху, которую смутно помнил по детским воспоминаниям и знал более по преданию о кладе, зарытом в родовом одном из Дербетевых после Пугачевской войны. Причем легенда говорила, что страшный вурдалак сгубил в конце концов бравого драгуна, завладевшего сокровищами. Не веря особо ни в Бога, ни в черта, мы отправились в путь. Не ради денег, конечно; мы их тогда, и всегда, впрочем, презирали – готический роман и сказки теток волновали куда сильнее.

Шли полем. Попутный мужичок объяснил, что до Пылаихи километров пятнадцать круглем и пять через поле, но в баньке поселилась ведьма и в десять вечера летает над лесом на помеле. Осмеянный, он обиженно хмыкнул и пошел стороной. Нарочито и весело отправились мы напрямки.

Близилось к десяти. Пылаихинская церковь виднелась на бугре за деревьями, на луг опускался туман. Какая-то банька с трубой, просевшая и явно бесхозная, прилепилась у ручейка на нашем пути. Я засек время. Ровно в десять в полном безветрии в тишине сумерек из трубы отвесно в небо взлетел, воспарил – не подберу слово и сегодня – огненный шар.

Потрясенные, мы пали в траву. Повисев с минуту, шар стал кататься по воздуху кругами, набирая скорость. От него исходило прерывистое гудение, отдаленно похожее на всхлипы ветра или скулеж зверя. Круг в воздухе замкнулся. Потом я вычислил время – семь минут, тогда нам показалось – вечность. Огненный шар летал и летал, затем завис опять над банькой и со щелчком всосался в трубу.

Наступила мертвая тишина. Вера молила возвращаться – я настоял идти. Было страшно. Но ничего больше не случилось. Банька в темноте чернела пятном, появился ветерок, затем закапал дождик. Ночевали в Пылаихе у бабки. Расспрашивали о шаре и получили выговор за свое безрассудство: падушевская банька считалась здесь проклятым местом. Охота смеяться у нас совсем отпала.

Тем не менее места нам понравились. За бесценнок выглядели дом в Бобрах – девчонки больше там и воспитывались. Татьяна, как вы знаете, и теперь туда наезжает: грибочки и брусника на столе – ее рук дело. Я, понятно, не был там давно, впрочем, и не жалею... Так вот, в Пылаиху и в те годы ходили мы редко, в основном за опятами, да и то пока там жили люди, мрачное, признаюсь, стало место. Крестьяне, перемещенные в начале тридцатых, фамилию мою не знали или не сопоставляли с помещицкой – таиться хоть здесь не приходилось. С тех пор при случае я всегда расспрашивал естественников – шаровой молнией сие быть никак не могло. Не скажу, что струсил, нет, тут иное: я вдруг понял, что клад

мне в руки не дастся. Свидетельство сему – остатки, передаваемые по наследству.

Профессор аккуратно размотал ленту, раскрыл коробочку. Гости подались вперед и разом ахнули.

– Оля, Таня, подойдите, – произнес Профессор торжественно. – Колье и перстень – Тане, брошка – Ольге, – объявил он. – Ты, – добавил старшей, – все равно увезешь, пусть большее останется тут, на Родине. Вот так, господа, клад искать теперь девочкам, их мужьям, Волюшке, он хоть из Чигринцевых, но родня. Вам цвесь – нам тлесь, – пошутил Павел Сергеевич мрачно.

Драгоценности пошли по рукам, поднялся гам. Профессор возвышался над столом, наслаждаясь произведенным эффектом.

– Тут в перстне инталия – вырезной сапфир, погодите, погодите, – вглядываясь в камень, закричал приглашенный Аристовым Княжнин, – буквы...

– Не буквы, а иероглифы, молодой человек, – оборвал язвительно Павел Сергеевич. – Впрочем, и буквы имеются – арабская вязь, но их можно разглядеть только в лупу. По чести, я боялся носить по спецам – время не благоприятствовало, за такие камешки большевики могли б и срок намотать. Теперь бизнес шагает, так, господин Княжнин?

Но его ироническое подчеркивание фамилии, как и последующий уход остались незамеченными – музейные, огромные камни примагнитили всех до одного.

Более, наверное, всех принял случившееся к сердцу Воля Чигринцев. Поразили его даже не камни, а адресованные ему слова Павла Сергеевича. Отныне он официально признавался членом большой семьи Дербетевых, с которой состоял в прямом, но далеком родстве по матери. Вряд ли ответственное решение принималось Профессором накануне или сегодня поутру. Хотя князь, или «красный мурза», как заглазно величала его тетушка Чигринцева, был непроницаем, – что варилось в его голове, оставалось всегда тайной за семью печатями.

Волюшка, как и все окружающие, с детства страдал от грубой резкости Павла Сергеевича, тот часто высмеивал мальчика, держал на дистанции, именно как юнца, не допускаемого в священный круг взрослых. Тепло, забота, внимание – проявление подобных чувств было для князя равносильно потере собственного достоинства. Иное дело – показное хорошее настроение, сытный покой после доброго обеда и рюмашки. Князь подсаживался к «своему» столику, доставал из футлярьчика карельской березы специальные маленькие карты, принимался за гранд-пасьянс. Тут он позволял себе краем уха прислушаться к пустословию общего стола, подпустить незлобную шпильку, реплику, порой остроумную, порой даже добродушную. Традиционный послеобе-

денный воскресный «отдыханчик» (дербетевское словечко) бывал самым спокойным временем в семье.

Остальные часы, минуты, расписанные с немецкой пунктуальностью и английским снобизмом, подчинены были ученому – вокруг него все вертелось. Пожалуй, одна Ольга – наследница отцовской крови – умела пойти напролом против папиной воли или, по-профессорски презрев, не расслышать до нее касаемое. Танюша дулась про себя, но смиренно подчинялась, плакала от незаслуженной обиды в тиши, одна, незаметно – и часто получала после отповедь отца: «Опять рева-корова». Дразнилка вгоняла в краску по новой, Таня прятала глаза или уносилась вихрем к себе, не показываясь порой до следующего утра.

Воля, приводимый с детства на обеды родителями, сборища Дербетевых терпеть не мог. Знал: обязательно ткнут пальцем и унижат. Долгое время казалось, что «красный мурза» избирал его объектом насмешек специально. После гибели родителей Воля часто пропускал воскресенья, но князь, не замечая пассивного протеста, неизменно встречал особой вежливой насмешкой: «А-а-а, Вольдемар пожаловали, иже зовомый Волюшка-вольница, милости прошу». Тут был явный намек на его свободную профессию, не одобряемую дисциплинированным академическим умом.

Воля, пристроенный в жизни мудрыми родственниками, оформлял детские книжки. Дело это было ранее весьма хлебное, он и в ус не дул – рисовал все, что дадут, за длин-

ным рублем не гнался, себя не насиловал, стараясь получить заказ, по возможности связанный с историей, стройки и пионерию никогда не воспевал. История тешила его дилетантское самолюбие – не достигнув больших высот, он тем не менее профессионально просиживал в музеях и библиотеках, знал историю костюма, мебели и, положив за правило по вольнолюбию характера не быть коллекционером, восхищался красотой и добротностью вещи, как, верно, раньше конюхи, понимая сызмальства толк в лошадях, позволяли себе бескорыстно любоваться статными хозяйскими красавцами. Подобная жизнь его устраивала.

Прекрасный пол, весьма долго его занимавший – он был знатный донжуан, – теперь, к тридцати трем годам, несколько прискучил однообразием сюжета. Друзья давно все оженились, завели семьи, Воля же держался, сам, впрочем, не понимая почему, в угрюмого сыча не превратился – жизнь в нем пульсировала полно, но все же последние годы он несколько остепенился, реже и реже срывался в полеты, раз навсегда решив довериться Провидению, в кое верил без ханжества, но крепко и радостно.

И все же чем дальше, тем больше тянуло к Дербетевым. Князь безусловно фиглярничал, как себялюбец со стажем, но что-то недосказанное, невыраженное крепко пристегивало к нему, помимо знаний, дивных рассказов за столом, всегда фабульных, всегда глубоких. Павел Сергеевич, чего у него не отнять, был редкий профессионал. Иронизировать



над собой позволял только себе самому, делал это тонко и к месту, порой снимая им же созданное напряжение. Смешил общество преувеличенным покаянием или дежурной фразой: «Дербетевы, знаете, все недополучившие чина поручики», – но замечал сие без тени улыбки, пожимал плечами, подчеркивал просто сам факт и... через пять минут снова вычитывал дочкам или жене за безделицу.

Сегодняшнее «прощальное слово» обставил по законам риторики, с пафосом уставшего аристократа, и все б показалось привычной игрой, кабы не драгоценности и клад, завещанный теперь и ему, Владимиру Чигринцеву.

Волюшка скрылся в саду, устроился в шезлонге за кустом жасмина. Легкое опьянение, в начале застолья забравшее, исчезло совершенно. Легенду он слышал с детства, как все в семье в нее не верил, ан, оказалось, зря. Княжнин, бизнесмен из новых российских эмигрантов, а также по совместительству поэт-любитель, чем-то пленивший в последний месяц Аристова, говорил о необходимости оценки, срочной страховки, – вместе с Ларри они взялись разработать план вывоза Ольгиной броши через знакомого дипломата в посольстве.

Воля удрал на воздух наслаждаться одиночеством и тишиной. Княжнин (Чигринцев знал, что это литературный псевдоним, ставший американской фамилией) его раздражал. Казалось, он не заметил иронии Профессора, но скорее-то всего, заметив ее, прикрылся деловым разговором, как щитом.

Выходило, Профессор ценил Чигринцева издавна, или делал уступку родству?

– Надо собираться за кладом, – проговорил он вслух и, разом приняв решение и, как всегда, загоревшись, уже спешил действовать, то есть мечтал за кустом, сладко потягиваясь, хрустел пальцами здоровенных и сильных своих рук, приятно сцепленных на затылке. Крупный мясистый нос и далеко открытый лоб без единой философической морщины выделяли и отягощали лицо, намекали на спящую, укрошенную агрессию, за что мать ласково обзывала его «мой Мишук», но никак не медведь, – большие черные и теплые глаза с детства слегка удивленно взирали на мир, но лишь невнимательный человек мог заподозрить в Чигринцеве легкомысленного простачка. На деле простодушие и открытость были лишь маской, а невинная улыбка зачастую ставила даже строгих и волевых в тупик, ибо за крепкими скулами читался терпеливый и выносливый характер. Где-то заголосил петух, мерно капала вода из крана на участке, жарило, не доставая, солнце – в тени за кустом клонило в сладкую дрему.

– Всего хорошего, вечером созваниваемся, как стоворились. Надеюсь, я его застану. – Княжнин прощался с Ольгой, Аристовым и Ларри на крылечке дачи.

– Не очень-то утруждайтесь, Сергей, не сейчас, так в другой раз заберем, – проявляя вежливость, отговаривала Ольга.

– Не стоит разговора – надо действовать, и немедленно,

он мне приятель по покеру, да и история романтическая – тут американец сделает больше возможного. О'кей, я исчезаю, всем общий поклон, а перед Павлом Сергеевичем извинитесь особо. Рад был познакомиться, ба-ай, – растягивая гласную, пропел Княжнин напоследок.

Ольга с Ларри скрылись в доме, Аристов завопил с крыльца:

– Волька, ты где, идем допивать!

– Я тут, – лениво отозвался Чигринцев.

– Извольте отдоханчикать, – сострил Аристов и было собрался присоединиться к нему, как резкий голос Татьяны остановил его:

– Хватит, никакой водки! Как всегда, есть все мастера, а убирать со стола некому! Виктор, изволь вымыть посуду!

Аристов картинно развел руками и громко прокомментировал:

– Баре зовуть! – Театрально поклонился кусту и ушел на кухню.

«Какая у них может быть любовь?» – в который раз подумал Чигринцев. Аристов, профессорский ставленник, сын деревенских фельдшеров из-под Костромы, был вывезен Павлом Сергеевичем, поступлен в университет и нынче, рано защитив докторскую, всерьез рассматривался как потенциальный завкафедрой и всемогущий секретарь ученого светила. Свойский парень, со своеобразным мрачноватым чувством юмора, обладал он стопроцентной надежностью и

преданностью шефу. Князь, помыкая и кляня, как «своего», Виктора, пожалуй что, и любил, если способен был на такое. Неудачно отроманившая юность Татьяна к тридцати двум, кажется, поддавалась аристовскому напору – тот втюрился в нее с первых дней. Умело держа осаду, он выжидал и все чаще поговаривал об их возможной женитьбе. Профессор эти разговоры молчаливо поощрял. Волюшка от одной Татьяны получал в доме настоящую сердечную теплоту и, дружа с Аристовым, ее откровенно почему-то жалел. Впрочем, это было сугубо их дело.

Лишь только сели в вагон электрички, Аристов набросился на Волю:

– Ну, что ты думаешь? Я как услышал, меня с тех нор всего и колотит, ну, говори же, черт!

Что говорить: наливай да пей! – чувствуя напряжение, поспешил осадить Воля. – Сейчас бы машину сюда, и с комфортом, а то в электричке тащиться...

– К чертовой матери, Волька, кончай, ты ж понимаешь!

– Ладно, ладно, по мне, клад надо искать. Поехали, Витя, в Пылаиху, оттянемся.

– Да не о том я, все – фаре! Обычный фарс, он нас, как деток малых, вокруг пальца фьюить! Один Княжнин, умница, успел просчитать комбинации. Гляди: с тысяча семьсот семьдесят четвертого сколько поколений ушло? Шесть-семь минимум, так? Земель тогда после пугачевщины накоплено было вокруг имения море, поддерживалось невесть на что – Павел Сергеевич давно документы раскопал, а я читал. Одних долгов Дворянскому банку – море нулей. Сокровище, по-твоему, бездонное? Ничего у них не осталось, кроме трех предметов, все сказки.

– Почему? Долги в дворянском хозяйстве – дело обычное, да и кто знает, сколько запрятано, может, как у Али-Бабы, целая пещера.

– Али-Бабы... – презрительно потянул Виктор. – Вечно ты околесицу несешь, человеческую психологию учти, парень. Ведь шеф – он сам первый упырь, все дело в нем... У меня бутылка есть, давай дернем, не могу всухую.

– Из горла?

– Какая разница? Яблоком зажуешь. – Аристов скрутил пробку. – Давай, погнались!

Воля отхлебнул, поморщился, впился в яблоко. Виктор отбулькал, как воду, запечатал, выдохнул и продолжал теперь уверенней и страстно:

– Вы все Серегу Княжнина презираете, за фамилию презираете, а он ее – назло! У него учиться и учиться. К вам лично у меня претензий нет, много лет знаю, аристократия, все на блюдечке приехало, а Княжнин сам добился. За десять лет обеспечил состояние – и не липовое, заметь, на бирже выиграл. Думаешь, просто? Умом, умом, алгоритм вычислил – и в дамки! Теперь позволил себе стихи писать, и, заметь, хорошие, времечко-то оплачено – и никому ничего не должен!

– При чем тут Княжнин?

– Да при том! Нет никакого клада, он просчитал, а ты уши развесил. Он человек реальный, крутит сейчас вывоз, а ты о шкуре неубитого медведя мечтаешь, поделил ее уже в мечтах, да? Я, как тебе известно, сам из Щебетова, моя бабка Дербетевых знала – папашка нашего князя под забором замерз в двадцатом, как дворняжка, церковный склад сторожил. Стал бы убиваться, коли деньги имел?

– Так клад закопан, – пытался возражать Воля.

– Клад, клад, какой клад? Скажи еще, вурдалак его сторожит, ведьма на шаре вокруг летает и воет, пей лучше!

Обменялись глотками. Опять Воля сморщился, а Аристов выпил, как воду.

– Воля, голубчик, я тебя люблю, – прошептал Аристов жарко, заглянув прямо в глаза, приблизился к Чигринцеву почти вплотную. – Не в кладе дело. В Профессоре, в князе нашем. Он для меня все, да? Все, да не все, я для него – ишак полезный, ты для него – ишак, девчонки... он нас всех удерживать хочет, он смерти боится, один же останется, факт!

– То есть ты хочешь сказать...

– А-а, понял? Понял! Наконец-то доперло, – мрачно вскричал Аристов. – К чему я клоню – он всю жизнь людей сосал: он почему Профессор, вокруг него, вокруг него плясали! Да, знает, да, начитан, но это на блюдечке принесено. Княжнин потому и Княжнин – он сегодня аристократ, сечешь? Его настоящая фамилия Сапожков, он офицерский сын с Мурманска, Серега Сапожков... Ты в бараке щитовом жил? Ты папку пьяного в галюн таскал по снегу? Не знаешь ты нашу сволочь! Сволочь, а не народ-богоносец; пока его жалеть не перестанут, ничего не изменится, этот все выиссет, размолотит, по ветру пустит! А я знаю, и пан Профессор знает! Нашел нишку, и в Америку ездить не надо за приработком – все у него имеется, сами наезжают с подарочками. А я доктор, завкафедрой без пяти минут, из молодых ран-

ний, а штаны купить не на что. Унизительно, понимаешь... Не-ет, ты понимаешь...

Он приник к бутылке, уже не предлагал Воле, отчаянно сосал, выгнал пары из-под верхней губы через подбородок, впился в рукав пиджака, словно заплакал.

– Витька, погоди... – Вдруг стало ясно, что Аристов смертельно пьян.

– Ты говоришь, на блюдечке, – оправдываясь, зачастил Чигринцев, – но не в деньгах дело...

– В деньгах, в деньгах, – зло выговорил Аристов, – не прикидывайся ты-то хоть. И раньше было в деньгах – цивилизации, культура появляются там, где деньги работают, а теперь «сникерс» драный без денег не купишь, не говорю об одежде приличной. Мне не миллионы нужны – свобода! Ото всех свобода! Я всегда все сам делал – и что теперь кафедра? Выдры прокоммунистические, старперы, Профессор – глава несуществующей школы, но корифей, а я – бумажки носить? Нет! Женюсь и уедем с Татьяной, уедем, на хрен, в Америку, Ларри звал лекции читать, а я уж зацеплюсь. Мир един, он стал един, а здесь... все катится, катится, вечно катится, и быдло, быдло – в телевизор погляди ...

– Не путай Божий дар с яичницей...

– Нет, не дам говорить! – с пьяным наскоком оборвал Аристов. – Ни хрена, ты понимаешь, ты все понимаешь – рушится, все рушится, и Павел Сергеевич наперед видит: он скоро – ноль, ноль, и я тут ноль, а троглодиты приходят в



чем-то и пострашнее прежних, а мне что, в бизнес идти? В бизнес?! – Он уже кричал.

Хорошо, в вечерней электричке было мало народу, да и к пьяным привыкли и не обращали на них внимания.

– Зачем в бизнес, Витя? По мне хорошо, что хочется, хочешь, так в бизнес. Ты же историю свою любишь, архивы...

– Вот! Люблю. Это все, что у меня есть, а история – э-э, я знаю... – Аристов погрозил пальцем и сполз по сиденью вбок.

– Где ты так успел надраться? – восхищенно спросил Воля.

– А я в сортире, в сортире бутылочку о-при-хо-до-вал! – хитренько поводя мутными глазками, пробормотал Аристов. – Мне она говорит – не пей, а я пью и буду пить – я алкаш, сын алкаша, я не чета, именице бы нам, но сиры, да, сиры и убоги – именица Бог не дал. Дедуся мой – старый пердун, именице то пацаном спалил —»петушка пустил – ха! – выдохнул он. – Давай песню запоем!.. В той степи галлухой-а-а...

– Молчать! – Воля вдруг вскочил и, сам не понимая отчего, рассвирепел. – Молчать, зараза! Спи, пока не разбужу!

– Ась? Ась? Ась-ась-ась, утиныш-путинь-ки, закричатушки на нас, закричатушки, нас сейчас растоптатушки будут, – просюсюкал Аристов и скорбно уставился в пол.

– Витя, Витюня, ты чего?

Воля пересел на его скамейку, потрянул братски полумерт-

вое тело, голова безвольно мотнулась из стороны в сторону, но не дозволялся – Аристов впал в оцепенение. В глазах у него стояли слезы.

– Витя, перестань, поедem домой.

– Да-а-а. – Аристов клоунски растянул припухшие губы. – Дам-мой... хрена я там забыл?

– Тогда едем ко мне!

Не-ет, не-ет, домой, только домой... Воля, поклянись, что – не бросишь.

– Ну куда я тебя брошу? Сейчас такси возьмем...

– Плохо мне, Воля!

– Перестань, все будет хорошо!

– Все будет – горь-ка!.. Горрь-каа!!! – как пьяный деверь на свадьбе, возопил Аристов, икнул и отключился, засопел.

...С электрички шли, мотаясь, под проклятья вокзальных бабок: «Нажрались, черти! Этим все едино, лишь бы до соплей!» Притормозили частника.

– Мутных не вожу. – Водила набивал цену.

Воля резко оборвал его:

– Плачу по верхней колонке, вперед, шеф! – Затолкал Аристова в «жигуленок». Тронулись.

Посреди засыпающей Москвы, на Садовом, Виктор открыл глаза и в трансе вдруг угрозился:

– Ты, гад, вези-вези, а то мы тебя накажем, боль-на!

– Чего-чего? – переспросил здоровенный водила изумленно.

– Поговоришь у меня, смерд! Разговорчики в строю! – Виктор начинал просыпаться. Опасаясь скандала, Воля немедленно скормил ему остатки водки, и Аристов опять сник.

– Не люблю мутных, – пожаловался шофер, – или заблюют, или орать начинают – горе.

– У него и правда горе, – приврал Воля. – Ты не обижайся, шеф.

– На обиженных воду возят, – отчеканил водила, – я не к тому: выпил – ляжь и молчи, а то лезет, лезет наружу вся хмарь. – И вдруг помягчел и принялся травить истории про пьяных.

Наконец доехали до Теплого Стана. Воля расплатился. Неожиданно по собственному почину водитель бросился помогать – втащили Аристова по ступенькам в подъезд, поставили к лифту.

– Давай, парень, спать его ложи, а будет бузить – бей в лоб, я их знаю, – серьезно посоветовал шофер на прощанье.

В квартире Аристов опять очнулся.

– Спасибо, Волюшка, дальше я сам. – Побрел к кровати, рухнул, зарылся в подушку, пробормотал сонно: – Я в норме, я в пор-рядке, Воля, спасибо, друг, ты вались рядом, я в норме.

Делить с ним на двоих узкую кровать Чигринцев не соби-рался. Немытая холостяцкая берлога, кислый, застоявший-ся запах, книги и грязная кастрюля сожительствовали на по-

лу; старенький черно-белый телевизор – таракан на ножках, не метенный столетьями ковер и яркая деревенская герань, одиноко и бурно цветущая на узком подоконнике. В углу тяжело храпящий хозяин. Воля выждал минуту для приличия, накрыл мертвяка одеялом, погасил свет и вышел, захлопнув дверь раздраженно и громко.

Ему случалось напиваться с Витькой и один на один, и в компании, но не так мрачно, как сегодня. Аристовские вопли вертелись в голове. Тело одеревенело от усталости. Он поймал такси и Дорогой молчал.

Москва опустела. Машина сыто урчала на подъемах. Пронеслись ненавистным Аминьевским. Призрачные фабрики жевали свою вечную жвачку. В Филевском парке темная зелень шевелилась на ветерке, как водоросли в аквариуме. Из размытых чернил ночи выпирала агрессивная сущность города: контраст черного и серо-белого, грязного и обшарпанного, прямые углы и параллельные линии, мучающие глаз однотонным повтором, устойчивые рисунки хрущевских панелей: веселенький «горошек», идиотические «полоски», гофрированные поверхности – техническое скудоумие, лишенное понятия прекрасного, – униформа, строй, ранжир – равнение на середину, – однайцевые близнецы – бесконечные квадратики окон, лишь подсвеченные занавески полуночников горели как редкие угольки. Распахнутые, ловили ночную свежесть астматические форточки и фрамуги. Луна затонула в низких облаках. Город угрюмо затих и

усыплял.

– Дур-рак, дур-рак, – прорычал сквозь зубы Чигринцев, подходя к дому. Живот и горло сдавило как обручем. Хотелось по-детски, обиженно зареветь. Но вдруг он беспомощно улыбнулся, развел руками. На душе немедленно потеплело.

Соленые огурцы-младенцы, хвостики, как у поросят, тугие и веселые, толстоногие моховички. Брусок масла на блюдечке. Столовое серебро. Селедка при луковых кружевах в печальном фарфоровом карпе. Графин твердой огранки с притертой пробкой. Гостевой, глубокий кожаный диван.

Тепло. Слегка голодно. Закуска манит, лишает остатков воли, но кусочничать строго запрещено с детства: пока накрывают, глазей молча. Картинки по стенам, аппетитные «штучки» в книжных шкафах, алюминиевая пивная английская кружка с карандашами на столе, неизменная с детства, до детства, всегда.

И наконец долгожданное: «Наливай, от первой и архиерей не отказывается». Тягучая, желтоватая, настоянная водка льется в специальные рюмочки.

Екатерина Дмитриевна, милая, я вроде по делу пришел, а ты праздник устроила. Давай за тебя, ты же вечная красавица, – не стесняясь произнести банальность, от сердца выдохнул Воля.

– Благодарствуйте, сударь, – подыграла старушка, бойко бросила рюмку в рот, посмаковала с удовольствием, бережно опустила на скатерть.

– Грибочком, наперед грибочком закуси, – опережая ее, задразнился Воля.

– А и закушу, обязательно и непременно, бобрятский моховик – ба-ажественный, как Вера Анисимовна говаривала, – по-московски на «а» пропела тетушка Чигринцева.

Старая каракатица, тяжелая книзу, корячащая при ходьбе ноги, с толстым добрым лицом, провисшим вниз, как у породистой собаки. Глубоко ушедшие, горящие вниманием глаза. Чистая комната, чистая кофточка, чистая простецкая юбка, теплые глубокие шлепанцы. Белая блузка с кружевным воротничком заколота большим резным сердоликом. Давным-давно живет она тут бесхитростно и одиноко, но вкусно на мизерную пенсию музработника.

– Тетушка, как тебе все удастся? – закричал через стол Воля, не называя это все конкретно, уверенный, что та поймет.

– Божьими заботами, батюшко, – усмехнулась старушка, – помнишь, как Лизавета говорила?

Лизавета – покойная тетушкина подружка-домработница с Малой Никитской, подобранная в эвакуации, прожила жизнь, тяжелейшей своей судьбы вроде и не заметив.

– Нет, ну все же? – напирал радостно Воля.

– Это вам все денег не хватает, а мне в самый раз. Давай закусывай, не болтай, рассольник на кухне дожидается.

Рассольник, дивно-жаркий, глазастый, всплыл на стол в ритуальной супнице. С утиными потрошками. Гузка и шейка немедленно переключались в Волину тарелку.

– Тот глуп, кто не пьет под суп, наливай-ка еще! – скоман-

довала тетушка.

Пьется еще, и как пьется! Только после котлет позволено говорить о серьезном. Воля рассказал о профессорском юбилее, о кладе.

– Мало ли чего он наплетет! – Тетушка недовольно заерзала на стуле. – Охота тебе к ним таскаться. Когда Вера была жива – другое дело, а его я не люблю. Имей в виду: фамилией кичиться – хуже нет греха. Юродство – оно от Бога и по благословению. Дворянство умерло – ни земли, ни государя нет. Ты видал, кстати, наш с Клинтоном как носится, подачки просит? Вот стыдоба настоящая – ведь все у нас есть, всего вволю, а они думают на подачки прожить.

– Екатерина Дмитриевна, ты еще и за этой мурой успеваешь следить, зачем тебе?

– Паш-шел вон, списал меня совсем со счетов?

– Нет, нет, что ты...

– Именно списал. Я сама себя списала. Ну да будет. Заруби на носу, все, что Павел Сергеевич говорит, дели на шестнадцать. Какой там клад – колечко, брошка, колье, держали про черный день, Вера говорила, а больше ничего. Дачу в поселке академиков и ту бесплатно хапнул. Вертихвост, приспособленец, а за одно все б простила – талантливый.

– Тетушка, я Павла Сергеевича с детства боюсь и недолюбливаю, но все-таки родня...

– Родня, родня, хуже горькой редьки эта родня – фазан персидский, и Ольга такая. Танька – та в Чигринцевых. Лар-



ри Ольгин мне милей – простак, а наш «красный мурза» не прост, давно его знаю. Про вурдалака рассказывал?

– Конечно, и про ведьму на помеле.

– Ведьма не ведьма – это они видали, Вере я доверяю, простая и чистая была душа, но мало ли чего ни случается? Ты лучше скажи, как с работой ладишь, платят?

– Должны на днях заплатить – частное издательство. «Сказка о золотом петушке» Пушкина, слыхала?

– Хорошо, что не Марианна или «Звездные войны», ты эту шелуху, надеюсь, не рисуешь?

– Нет, Бог миловал. Соблазняют тут на «Священную историю для детей»: денежно, почетно, и сам митрополит благословит.

– Держись от белых клобуков подальше: у них свое дело – у тебя свое, и хлебное, слава Богу. Ходить надо к простым попам, не так суетно. От заказа откажись – как у Доре, не выйдет, а клюкву и без тебя развели, – что ни день, по ящику кажут.

– Тетушка, никак ты меня жизни учишь?

– Оно б и хорошо, да поучишь вас, как же. Наелся?

От пуза! Спасибо усим, що наивси Максим, – помнишь Лизветино?

– Помню, все я помню, кончай трепаться. Снеси на кухню, после помою, и не смей там ничего трогать, слышишь? – Тетушка перевалилась в кресло, глядела уже через силу – устала. Своротить такой обед в восемьдесят с хвостиком –

подвиг.

– Тетушка, а где бычок? – Чигринцев подошел к столу. Незаметно положил на книгу три десятитысячных – прямую тетка никогда б не взяла.

– Бычок? Не знаю, в шкафу, хочешь – забирай, сам ты бычок ласковый. Ты почему не женишься, Воля?

– Время не пришло, – отшутился Чигринцев. Он искал бычка. Деревянный, с колечком на веревочке, тот ставился на стол. Колечко тянуло к краю. Раскачиваясь, бычок шагал на шарнирных ногах, качал головой и замирал всегда перед самым обрывом.

– Ладно, бычка в другой раз возьмешь, иди-ка ко мне. – Тетка вертела в руках шитый бисером кошелек, старинный, перемотанный ниткой. – На, ты же любитель рухляди. Екатерина Вторая им капитана Владимира Николаевича Чигринцева за участие в Кучук-Кайнарджийском посольстве одарила. Разглядывать после станешь – устала. Целуй.

Воля ласково обнял ее, поцеловал, засунул кошелек в карман.

– Про клад забудь – много дураков искало попусту. Устал, поезжай хоть в Бобры, Дербете, вы там сейчас не живут. Голову прочистишь, продышишься – больше после наработаешь.

– Ступай, провожать не стану, захлопни аккуратно. И приходи к старухе, тоже, чай, родня.

Старенькая, нахохлившаяся, сидела она в кресле, закутав-

шись в неизменный клетчатый плед, моргала глазом, как столетняя ворона, недоставало только Тишки рядом на коврике – несуразной мохнатой дворняги, многие годы красивой ей одиночество.

В машине Чигринцев достал кошелек, сорвал нитку. Внутри лежали николаевские червонцы – восемь золотых целковых, с давних времен хранимых на черный день. Не в кошельке, выходит, екатерининском было дело – старуха его провела. Вспомнилось, как Тишка купался в снегу, что строго запрещалось. Посмотрит: никто не подглядывает – вывозится, пропашет спиной, боками борозду в грязном городском снегу и вдруг в середине игры встряхнется, вскочит на ноги, смущенно отвернет морду, сознавая вину за плебейское свое дело, твякнет голосисто и озорно, все тут же позабыв, и пустится скакать кругами, кругами – домой, к подъезду.

– Тишка, Тишка... – пробормотал Чигринцев. Оглянулся. На улице – никого, можно было выезжать. – Все равно поеду за кладом! – прошептал упрямо, повернул ключ и рванул с места.

Уже подъезжая к дому, Воля вдруг резко свернул в сторону. Несколько раз на дню пытался прозвониться к Аристову – тот не брал трубку. Дважды Виктор крепко запивал. От Профессора держали в тайне, но, кажется, князь догадывался, хотя ничем не выказывал своей осведомленности. Бывало, только грозно бросал за столом: «Хватит пьянствовать!», – и Татьяна незамедлительно убирала бутылку. Вчера Виктор нагрузился крепко, Воля обязан был его проводить, давешняя истерика могла опять привести к запою.

Аристов оказался дома, сам открыл, и хотя был навеселе, но именно навеселе – вчерашней безысходности, казалось, и след простыл. Но что-то в его поведении настораживало – слишком суетен, слишком, пожалуй, весел был Витюня, слишком мел хвостом.

– Волька, братец, входи, – загомонил он громко, – не отпущу, ко мне родня со Щебетова накатила. Мы тут по маленькой, по-родственному, присоединяйся. – Но прятал глаза, подлец, как та кошка, что знает, чья мясо съела.

– Воля решил быть с ним строгим:

– Я на машине. Ехал мимо, решил проинспектировать. Ты хоть помнишь, что вчера нес?

– Тут помню, тут не помню. – Клоунским жестом Аристов постукал кулаком по голове. – Какая разница, Волька, впер-

вой нам разве?

– Ясное дело.

– С этими, что ль, напиваться? – грубо буркнул Аристов и, смутившись, опять зататорил, толкая Волю по коридору.

Узенькая кухонька утопала в папиросном дыму. Свободное пространство заняли два здоровенных мужика, расположившихся на кухонных табуретах. Встретили Волю настороженными кивками. Аристов завопил, представляя пришедшего:

– Художник, наш художник пришел, проверяет меня, ясно?

– Мужики, слегка расслабившись, протянули руки.

Приехали на ЗИЛ пробивать в колхоз грузовики. Навезли, как водится, гостинцев – плату за постой – и по-холостяцки с утра уже зарядились как следует. Рыжий, что помоложе и побойчее, протянул Воле стакан, но Чигринцев отказался.

– Как хочешь, а мы с ребятами выпьем, – хихикнул Аристов.

Они и выпили. Закусили, но тарасились на Волю по-прежнему, пришлось их разговаривать специально. На кухне Аристов засуетился, подавал реплики к месту и не к месту, старался угодить и Чигринцеву и мужикам и, кажется, сам себе становился противен: морщил губы и крутил головой. Оттого только упрямо прибавлял темп и сыпал словами – вставить в его монолог фразу было не просто.

Один из приехавших, сильно пьяный уже Валентин, груз-

ный, в теплой байковой рубаше, созревший от духоты, весь плачущий потом, от вынужденного молчания отключился и пал на скрещенные на столе руки. Второй, рыжий Николай – аристовский троюродный, блюдя права родственника, кое-как разговор поддерживал.

«Что он им тут наплел?» – подумал Чигринцев, наблюдая за аристовским концертом. Тот же неумоимо «блистал» перед «деревней», и дешевенькое, и ничтожное это желание выставиться порождало только одну общую неловкость.

– А я тебя знаю, Вовка, ты к ученому в Бобры наезжал! – вдруг невпопад, перебив тираду Аристова насчет его великих в Москве связей, выпалил Николай.

– Случалось, – ответил Чигринцев сдержанно.

– К нам снова не собираешься? А то махнем! Получим машины и махнем! Охотишься?

– Еще как, у него ружье знатное, – ввернул Аристов.

– Так за чем дело стало, давай!

– А он, может, и собирается, у него там дела есть семейные, кроме охоты, – начал Аристов, но осекся, поймав гневный Волин взгляд. – Это он меня вчера транспортировал, – с ходу умело переключился и гордо ткнул в Волю пальцем. – Вообще, мужики, не смотрите, что художник, он наш человек, а не пьет, так, значит, не может!

Не понятно, кого Аристов больше стеснялся – своих или его, Чигринцева, именно стеснялся, а потому никак не мог сказать попросту, естественно.

– Да пошел ты, Витька, что ты липнешь как банный лист к заднему месту, мы с мужиками и без твоего суфлерства договоримся.

В глазах Николая блеснули поддержка и понимание.

– Ты вот что, вали кулем, не порти песню, заехал – спасибо, – грубовато-товарищески отмахнулся пристыженный Аристов и сник было, но на секунду – так и лезла, так и рвалась из него «хмарь», как выразился вчерашний шофер. – Кстати, чтоб не забыть, Княжнин звонил утром, пробил он дело – дипломат согласен, впрочем, он Княжнину должен.

По Николаевым глазам Воля уловил, что и этот вопрос здесь обсуждался.

– Одного не пойму, – Воля не сдержал досады, – какой со всего этого Княжнину навар?

– Э-э, братец, а Ларри? Невелика шишка, но круг, круг общения совсем иной, чем тот, что Княжнин в Америке имеет. Связи в гуманитарно-культурных сферах!

– Во, сукин сын, не упустит своего! – восхищенно воскликнул Воля.

– Большого полета человек, вот увидишь, – блаженно улыбнулся Аристов.

– А что, связи – великое дело, – вставил рыжий Николай, – выходит, и в Америке связи все решают, так я понял?

– А в Америке что – нелюди живут? – очнулся вдруг Валентин (выходит, внимательно слушал), поднял свою тяжелую голову и произнес, как вердикт огласил: – Были б у нас

связи на ЗИЛе, мы б тут сидели? Ха! Сегодня бы назад ка-  
тили! – И, почувствовав, что сказал слишком резко, слиш-  
ком обидно для насулившего им златые горы болтуна хозяи-  
на, многозначительно поднял стакан: – Большое дело! Пьем,  
значит, чтоб вас обоих соблазнить на поездку – клад ис-  
кать! – Ухмыльнувшись, он выпил, уверенный, что принятие  
стакана – лучший способ загасить неловкость.

– Рассказал? – вырвалось у Воли.

– Ты что, и правда сдурел – какой там клад? – запричитал,  
оправдываясь, Аристов. – Спроси у мужиков, они все места  
как свои пять пальцев знают, ничего, никогда, ни за что!

– Слушай сюда, Вова, нет там, в Пылаихе, никакогоклада  
и не было никогда, мои бабка б знала, – подтвердил рыжий  
серьезно, опорожнив стакан.

– Его бабка бы знала, – медленно и с трудом поддакнул  
грузный Валентин, – знающая старуха.

– Веришь, – не отставал рыжий, – бабка бы знала, факт  
говорю, она у меня колдунья.

– Ну вас, пойду я от греха. – Воля встал и повернулся к  
двери.

– Эт мы не принуждаем – сам хозяин, а захочешь, всегда  
приезжай запросто, на него не смотри, его к нам калачом не  
заманишь.

– Не принуждаем, – промычал грузный Валентин и береж-  
но опустил на стол тяжелую голову, как бы завершая разго-  
вор.



– Волька, не обижайся, Бога ради, – Аристов прилип к нему в коридоре, стремясь загладить вину, – мужики свои...  
– Глаза его округлились, что у побитой собаки.

– Да не обижаюсь я.

– Нет, прямо смотри. А? Вижу, теперь вижу, не обижаешься, хорошо – я тебе, братец, благодарен за вчерашнее, – шепнул он вдогон уже серьезно и вдруг горячо приник к Чигринцеву.

Из-за спины его возник пошатывающийся рыжий:

– Что, мужики, заметано? Приезжайте хоть порознь, хоть вместе, берите ружьишки, захватите патронов, у нас с порохов туга, и вперед – самое время наступает. Давай пять!

Пожали руки.

– Ты это, – вдруг зашпатыкался языком Николай, – если что не так, извини, мы по-простому, сам знаешь, по-крестьянски.

Стандартная фраза, всегдашняя, обязательная при расставании, как, впрочем, и обычно, легла на сердце, все расставила по местам и отвела скопившуюся желчь. Заобнимались теперь все втроем, Воля кое-как выпутался и поскакал по лестнице, весело насвистывая. Один раз оглянулся: в дверном проеме стояли обнявшись родичи – Аристов и рыжий Николай, чем-то схожие на лицо, абсолютно чужие, но в этот момент любящие друг друга не понарошку.

Он сильно толкнул входную дверь и чуть не зашиб приснувших от смеха девчонок-старшекласниц.

– Счу-умел? – тягуче и незлобно накатила самая взрослая на вид, строя по привычке глазки.

– Очумел, девки, счумел, конечно, вечерок-то какой! Пойдем вместе почумеем, – бросил Воля, зная, что ей понравится.

– Как же, держи карман, – скрывая за презрением восторг, ответила девчонка и, покачивая джинсастыми бедрами, вплыла в подъезд, не оглядываясь на подружек, – так следовало ей поступить по их неписаному закону.

– Эх, девочки, как я люблю вас, мои девочки, – продолжая ненужную уже роль, пропел Чигринцев легко и беззаботно, плюхаясь на сиденье «жигуленка».

У Теплового Стана он выскочил купить сигарет. На брошенном ящике рябой дедок играл на аккордеоне «На сопках Маньчжурии». Никто его не гнал. Наоборот, спешащие по домам прохожие, заслышав мотив, чуть сворачивали с пути, бросали ему бумажки в чехол инструмента. Женщина с набитой авоськой стояла в стороне и явно слушала – на лице ее застыла отрешенная, чуть глупая улыбка. Тепло мелодии захлестнуло и Чигринцева. Он шагнул к мужику, бросил тысячную и, не оборачиваясь, побежал к машине.

И пел всю дорогу чудный вальс. На город тихо спускалась мгла – не вчерашняя, тяжелая, полуночная, а первая, еще мгла – чистый бархат.

По краям дороги мелькали торговые палатки, забитые легкой закуской и напитками на любой вкус: начиная с дешевых контрабандных водок до невероятного еще недавно «Асти Мартини». От пляшущего перед глазами изобилия немедленно захотелось чего-нибудь вкусенького. Чигринцев тут же и поддался соблазну – убедил себя, что грех рушить возникшее идиллическое настроение, и, предвкушая и домысливая прилавок ночного магазина деликатесов, сразу ощутил голод и завернул на Тишинку к залитому белым неонем заведению «Нью-Йорк», торгующему круглые сутки.

Все здесь было чисто, респектабельно и аккуратно, зеленый пластмассовый половичок, имитируя газонную траву, отделял и подчеркивал разницу между старым городом и новым магазинчиком. Под стать антуражу были и припаркованные машины покупателей.

Заданную гармонию нарушал разве что пьяный, привалившийся спиной к магазинной урне, чье белое, трясущееся лицо Чигринцев отметил краем глаза, взбегая по ступенькам. Над ним хлопотал некто, со спины ничем не примечательный, – обыденная ночная картина, никак не портившая пейзаж.

В магазине глаза потянулись к мясному прилавку, и Воля поймал себя на мысли, что не столько оценивает качество

эскалопов и немецких сарделек, сколько судорожно калькулирует, и потому, дабы не обращать на себя внимание, сразу шагнул к полкам и принялся механически ощупывать консервные банки. Наконец опустил в корзинку продолговатую склянку с испанскими оливками и вежливо попросил продавщицу завесить полкилограмма копченых свиных ребрышек. Острый профессиональный нож скользнул по нежной косточке, без видимого усилия рассек молодые белые хрящики пополам – малиновый, остро пахнущий кусок вспорхнул на весы и тут же был умело завернут в белоснежную воощеную бумагу, опущен в невесомый пакетик, а затем уже и в аккуратный целлофановый пакет побольше (за счет заведения). В приклад добавились упаковка арабской питты и две бутылочки светлого пива из холодильника.

Расплачиваясь, Чигринцев услышал, как громко хлопнула входная дверь и возбужденный голос произнес на повышенных:

– У вас здесь есть телефон? Надо срочно вызвать «скорую» – человеку на улице плохо!

Любопытствуя, Воля оглянулся: в проходе у кассовых аппаратов стоял Княжнин (он тут же признал в нем человека, возившегося с пьяным около урны). Лицо его, обыкновенно сдержанное и спокойное, было теперь возбуждено, глаза сверкали и метались в поисках того, кто откликнется на его зов.

– Пожалуйста, позвоните от директора. – Девушка, ближе

всего к нему стоявшая, вышла из-за прилавка и указала на маленькую комнатку за железной дверью.

Княжнин рванулся туда, Воля подхватил пакет и поспешил за ним. Сергей уже накручивал телефон, рука, державшая трубку, слегка вибрировала. Увидав Волю, он кивнул на его приветствие, причем на лице сразу отразилась невероятная, нескрываемая досада, но тут же и погасла, через доли секунды он глядел уже холодно и деловито.

Сердечный припадок, люди идут мимо, принимая за пьяного, а человек умирает, – просто пояснил Княжнин. – Внимание, девушка, – он уже дозвонился и говорил в трубку отчетливо и со значением, – на Тишинке (продавщица, поймав его вопросительный взгляд, назвала адрес) человеку плохо: острая сердечная недостаточность. Нужен реанимобиль, и срочно! Нет-нет, не перебивайте, давление надает катастрофически, – не моргнув глазом приврал он. – Вы вышлете машину немедленно. Коллектив бригады получит вознаграждение – сто долларов, если успеет вовремя. Вы меня поняли? Назовите ваш номер... Повторяю, немедленно, иначе у вас будут крупные неприятности. – Дежурная, видимо, повторяла адрес, Княжнин кивнул головой и еще раз с нажимом добавил: – Вы все поняли верно? Жду. – И повесил трубку.

Чигринцев, продавщица и подошедший охранник глядели на Княжнина, не скрывая изумления. Но тот, словно всегда командовал людьми, спокойно и властно распорядился:

– Давайте, господа, на улицу, надо перенести человека в

магазин.

Он умел подчинять. Тяжело хватающий воздух ртом, белый как лист бумаги, пожилой работяга в грязном пиджачке и затасканных брюках был перенесен в помещение и заботливо уложен на скамейку. Расстегнули ворот рубахи. Девушка, забыв про свой прилавок, сбегала в подсобку, принесла мокрую тряпку, смочила страдальцу лицо. Тот не произнес ни звука – все силы уходили на дыхание.

Вокруг немедленно собралась кучка посетителей, но тут вмешался охранник и оттеснил зевак на положенное расстояние. Княжнин и Воля стояли у скамейки – за все это время они не обмолвились ни словом.

Бригада прибыла минут через десять. Княжнин встретил их у входа, протянул врачу зелененькую купюру и указал на больного. Реаниматор, оценив глазом ситуацию, пока разворачивал свой сундучок, поинтересовался:

– Ваш знакомый?

– Абсолютно незнакомый мне человек, теперь, полагаю, я тут больше не нужен? – с достоинством произнес Княжнин.

Врач поднял на него глаза, покачал головой, но ничего не добавил, занялся своим делом.

– Пойдемте, Володя. – Княжнин потянул Чигринцева за рукав.

Воспользовавшись суматохой, они вышли на воздух.

– Сергей, вас подвезти?

– Спасибо, я тут неподалеку... – Княжнин слегка замаял-

ся, но подавил смущение, лицо его тут же обрело непроницаемость. – Могу я просить вас об одолжении? Не рассказывайте никому, это... не стоит, правда?

– Да, да, понимаю...

– Ну и отлично, благодарю вас. Пришлось, знаете, сталкиваться в жизни с подобным... Собственно, чего лгать? Отец мой так и загнулся, – с деланной простотой заметил Княжнин и тут же, смутившись вырвавшегося признания, крепко и эффектно пожал Волину руку. – Увидимся вскоре, Ольгина проблема вполне решаема, я работаю в этом направлении.

Не оборачиваясь, прямо неся голову, он зашагал, похоже, в первый попавшийся переулок.

Едва Воля вошел в квартиру, позвонила Ольга. Собранная, всегда по-профессорски отчетливо проговаривавшая слова, она частила, сбивалась с мысли, почти плакала.

Утром Павла Сергеевича забрали с дачи на «скорой». Едва уломали, точнее, откупили машину, чтоб везти в Москву, а не в подмосковную коновальню. Срочно, с колес – кровотечение, задержка мочи – Профессора положили на стол. Резали целых три часа. К вечеру сообщили, что больной переведен в палату. Теперь там что-то затевалось по новой, кажется, грозила повторная операция. Татьяна сорвалась из дома на такси, Ольга и Ларри, закупоренные на приеме у княжнинского дипломата, могли выехать только через час-два. Завтра им лететь в Вашингтон. Ольга билась в истерике.

– Во-первых, успокойся! – строго приказал Чигринцев. – Во-вторых, соберись с силами и жди, помочь отцу сейчас ты не можешь. Дай телефон – я перезвоню, или после – домой. Я выезжаю, надеюсь застать Таню в больнице. Срываться вам – лишнее, спокойно пакуйте вещи, главное сейчас – без паники! Вспомни отца, наконец, как бы он на тебя посмотрел! Все, отбой, еду! – бросил трубку, сознательно резко, не дав ей опомниться.

«Мочеполовой ас», как окрестил его князь, профессор Цимбалин давно пользовал Павла Сергеевича по поводу аде-



номы. Князь тянул с операцией, и, видимо, зря. Хирург практиковал на Каширке, в длинной, обшарпанной, уродливо-голубой клинике, построенной перед олимпиадой, – Воля возил к нему князя на обследование. Весь район вокруг метро, забитый больницами, психдиспансерами, дурдомами и страшной, все подавляющей онкологической, вызывал у нормального человека смятение и тоску. Чигринцев всегда старался проскочить его, не глядя по сторонам. Теперь гнал именно в центр скопления, где боль и страдания человеческие ощущались кожей и не выветривались сквозняками, гуляющими по бездарно спланированному лабиринту.

Ошеломленный Ольгиным сообщением, Чигринцев твердо понимал: помочь он бессилен. Где-то в полуослепшем здании находился Павел Сергеевич, а быть может, уже и Татьяна, припаянная к стулу или влипшая в помытую хлоркой стену.

Воля вбежал в полутемный вестибюль, оттолкнул дежурного, бросился к лифту.

– По вызову Цимбалина, срочная консультация, – наврал с ходу и уже жал кнопку седьмого этажа.

В коридоре горело ночное освещение, ближайшие комнаты были затворены, на пульте у медсестры – никого. В дальнем конце маячила убредающая фигура.

– Подождите, пожалуйста, где тут персонал найти? – крикнул Воля. Лицо нехотя повернулось: черепашины морщины, сработанный, щербатый рот, взгляд, полный тупой ненави-

сти. – Дербетева, Павла Сергеевича, не знаете, его сегодня оперировали?

– Тут всех оперируют, – проскрипел больной, – всех, тут оне на диссертации людей режут и кровь нашу на опыты беруть, а надо – хлебушка не допросишься.

Человек побрел дальше, в туалет. Зашел, оставив дверь открытой, закашлялся там надсадно и противно. Из туалета невыносимо воняло больничной дезинфекцией.

Чигринцев вернулся к пульту и вдруг заметил свет в одной из палат. Заглянул и понял сразу – сюда. Павел Сергеевич голый лежал на боку, как младенец, и, подергивая, пытался притянуть сухие ноги к животу. Из недоступного и надменного Профессора вмиг превратился он в жалкое и жутковатое, но родное до боли существо. Глаза, приоткрытые и пустые, ничего не видели. Правая рука, заломленная за голову, шарилась по подушке, левая, безвольная плоть, подключена была к капельнице. В палате царил запах горячей крови. Над койкой завис здоровенный, волосатый и большерукий врач. Внимательно следя за потугами больного, он что-то добродушно ему нашептывал.

– Павел Сергеевич! – позвал Воля тоненько. – Павел Сергеевич, как вы? – Не дождавшись ответа, переключился на врача: – Что, что, доктор? Слышите, как он?

– Ваш больной? – ничуть не сомневаясь, спросил великан важно.

– Конечно, я родственник.

– Очень, очень хорошо! Подержите! – протянул снятую с подставки капельницу. – Да держите же крепко, меньше паники!

Воля засмутился собственной робости, а потому проворно, на цыпочках обежал кровать и тут только заметил каталку.

– Куда вы его?

– Ничего особенного, сосудик внутри кровоточит, нужно подштопать. Да не дрожите вы-то сам, дело нехитрое... Давайте, я поднимаю и перекладываю, а ваше дело – капельница. Раз-два – взяли! – Врач подsunул иод Павла Сергеевича ручки. – Ну-с, больной, поднимаемся.

Павел Сергеевич застонал, голова его дернулась, глаза открылись – кажется, что-то они уже соображали.

– Больно мне, больно, – простонал князь, – очень больно, кто тут?

– Павел Сергеевич, это я, Воля, все будет хорошо.

Врач привычно поднял обмякшее тело, переложил, как мешок, на каталку.

– Воля! – Холодная шершавая рука нащупала чигринцевскую руку. – Воля! На каком я свете, я уже в аду? – Кажется, Профессор пытался острить.

– На этом, на этом, Павел Сергеевич, – нарочито бодро прокричал ему в ухо Чигринцев.

– Ты слушай, я не наврал, что бы они ни говорили, бойся только белогорлой собаки... упырь... – Голос дребезжал,

срывался. – Он приходит, приходит, вот, надо мной, больно, больно снизу... Где я, Воля?

– Отлично, в упыри меня еще не записывали. А мы ж и есть упыри, так, профессор? Ну, покатили! – Хирург, довольный собственной остротой, захохотал.

– Погодите минуточку! – взмолился Чигринцев.

– Нет, ждать нечего. Вот и сестра. Где тебя черти носили? – как-то въедливо и слишком спокойно спросил доктор входящую девчонку в белом халате.

Операционная готова, можно везти, – доложила она и профессиональным жестом выхватила из рук Чигринцева капельницу.

Больного накрыли простыней до подбородка – Воля заметил на ней свежие кровавые пятна.

– Господи, папа! – В дверях застыла Татьяна.

– Поехали, господа, поехали, все узнаете в справочной, – властно оборвал немые вопросы доктор. – Мы недолго, полчаса, чистая профилактика. – Играючи толкнул каталку, покати по коридору к лифту.

Павел Сергеевич что-то силился сказать, шевелил губами, Чигринцев разобрал странные слова: «яблони... большие яблони...» Татьяна едва поспевала за ними. Больного ввели в лифт. Врач с медсестрой на них уже не глядели. Двери захлопнулись.

– Спокойно, теперь запасись терпением и жди. – Воля крепко обнял ее за плечи. – Поехали вниз, здесь мы ничего

не добьемся.

– Что он имел в виду, поминая большие яблони? – спросил Чигринцев, чтоб как-то отвлечь напуганную, онемевшую Татьяну.

– Может быть, сад в Пылаихе?

С трудом удалось ее разговорить. Из детства, короткого, но безмятежного, из первых младенческих четырех-пяти лет князь крепко запомнил пылаихинский сад. Отец его, Сергей Павлович, выполняя волю покойного дяди, занимался имением серьезно. Он жил землей. Революция лишила смысла жизни. Маленького Павлушу с матерью отослали к родне в Москву. Сам барин остался при хозяйстве сперва выборным сельским старостой, затем почему-то сторожем. Говорили, что в промозглую мартовскую метель, последнюю в году, но чрезмерно злую, он промерз до костей и в одночасье скончался от пневмонии. Впрочем, подробности последних его дней так никогда и не стали известны семье – схоронили князя спешно, полутайком его же крестьяне.

Мать мыкалась в Москве с сыном – без профессии, лишена в уплотненной квартире, случайным приработком живая, умерла она сразу, как только Павлушенька поступил в ИФЛИ, словно ждала специально решения его судьбы.

Из того детства остался в памяти чудный яблоневый сад, запах ссыпаемых в подпол на зиму яблок: разноцветных, раз-

носортных, вкусных, чистых, веселых, как короткая жизнь при полном достатке.

– Папа не любил ходить в Пылаиху, я сама была там раза два – никакого сада не помню. – Смертельно уставшая, Татьяна подняла глаза. – Как теперь быть, Воля?

– Перестань, – он обнял ее бережно, но крепко, – перемелется, мука будет.

– Да... папина фраза. Я люблю его, люблю и боюсь... боюсь, что теперь будет, – поправилась она спешно и неловко, стесняясь собственной проговорки.

– Посиди, я пойду узнаю! Или лучше позвони, успокой Ольгу, они наверняка уже дома. – Чигринцев старался как-то ее занять. Но сам себе места не находил.

Дежурная пыталась связаться с операционной – пока ничего не сообщали. Так, перебирая в памяти мелочи, срываясь к телефону на переговоры со сходящей с ума Ольгой, настойчиво названивая на этаж, просидели два часа.

Большерукий и волосатый доктор соткался из сумрака раздевалки, как вестник с того света. Они разом вскочили с банкетки.

– Значит, так. – Врач смотрел устало и мрачно. – Операция прошла нормально, но больной плох. Сделано все возможное. Павел Сергеевич в реанимации.

– Да, да, но почему? – прошелестела Татьяна.

– Скажу прямо: у больного рак – аденома слишком запущена, – развернутой ладонью он погасил Татьянин вопль, –

мы удалили все лишнее. Сейчас надо бояться другого – справится ли сердце. Тяжелый соматический больной. Профессор Цимбалин отдал необходимое распоряжение по телефону, никаких лекарств пока не нужно. Поезжайте домой – сегодня-завтра все решится. Звоните утром, запишите мой телефон, я дежурю до двенадцати дня.

Еще что-то лепетала Татьяна, благодарил врача Чигринцев, заверял, что любое лекарство, за доллары, моментально будет доставлено. Реаниматор спокойно кивал головой. Главное он сказал и теперь вежливо, но настойчиво пытался подвинуть их к выходу.

– В реанимационное вас все равно не пустят – дня два вам здесь делать нечего. Я надеюсь, справимся, – выжал на прощание улыбку.

Чигринцев свел Татьяну по ступенькам к машине.

– Домой?

– Нет, Воля, нет, пожалуйста, я сейчас не смогу с Ольгой говорить, я умираю, можно к тебе?

Он немедленно согласился. Татьяна опустила голову ему на плечо. Так, неудобно, молча и ехали по мертвому городу – как сквозь туман, не замечая дороги, домов, на скорбном автопилоте. Затем он заварил чай, дал ей таблетку родедора, прогнал в ванную. Татьяна мылась, пока он звонил Ольге – та уже не рыдала, собралась, смирилась, все приняла как есть.

– Завтра отвезу вас в аэропорт, в больнице мы пока не



нужны, они делают все необходимое, – в третий раз повторил Воля.

– Хорошо, спокойной ночи... – От ее голоса веяло безнадёгой, могилой.

Тут явилась Татьяна: в толстом махровом халате, красная, с большими, возбужденными в полный глаз зрачками. Подошла, обняла, прижалась жарко, уткнулась носом в его ключицу и разрыдалась. Все, что копилось, полилось наконец нескончаемым потоком. Он и не старался его остановить.

И что теперь будет? Рак? И Профессор, отнявший у нее жизнь, высосавший, выжавший, как губку. И работа в лингвистическом секторе, никому не нужная, глупая, потому как сама она глупая. И этот Аристов, исчадь ада, присоска, минога – «Ты на губы, на губы посмотри!» Нелюбимый, не умеющий любить, покорный, стерегущий, как пес. Слова лились потоком, он попытался ласково ее отстранить, но Татьяна только крепче вжималась в его грудь.

– Пойдем спать. – Он увлек-таки ее в спальню.

Медленно, шаг за шагом, она боялась расцепить объятия, протащились по коридору. Он ласково, так гладят больного ребенка, гладил ее по голове.

– Ложись, Танечка, ложись, спи, утро вечера мудренее. – Нежно уложил в кровать.

Татьяна перестала всхлипывать, сжалась, как загнанный в угол зверек. Испуг, безумие читались в раскрытых широко глазах. Зареванная, простоволосая, в полураспахнутом хала-

те, теперь молча цеплялась она за спасительную руку. И снова гладил, и шептал что-то на ушко, полную глупость – не слова, тембр голоса все решал – ее следовало убаюкать.

– Воля, Волюшка, как я одна? – По-дербетевски капризно поднялась дрожащая верхняя губка. – Иди ко мне! – потянула требовательно, настойчиво и, не отдавая, кажется, отчета, принялась целовать его лицо.

– Хорошо, хорошо, сейчас. – Чигринцев выскользнул из ее объятий. – Сейчас приму душ, ты пока спи, сладенько спи.

Потушил лампочку, укрыл ее, юркнувшую в постель, заботливо поцеловал в лоб.

– Я не засну, я не смогу, – прошептала Татьяна, свернулась клубочком и сразу задышала глубоко и спокойно – родедорм ее укатал.

Чигринцева трясло – долго, мелко и противно. И когда заглянул в комнату, увидел, как безмятежно она спит, волнение не отступило. Он прошел в кабинет, застелил диван. Профессор, рак, больница, Татьянины рыдания, поцелуи – все потихоньку утонуло в только ночью возможном чувстве, когда подступает греза и – уже стеклянный – глаз следит неотрывно за оживающими на обоях тенями.

Вспомнился, выплыл армейский хоздвор, кладбище пыльной техники, укромный пятачок. Ефрейтор Черепанов, новокузнецкий дебил, без меры душащийся «Шипром», сидит на подножке самосвала – местный дедок, под настроение поучающий молодняк. И их – четверо салаг. И Надька из во-

енного городка – одна на пятерых. Август. И все смотрят на заплыванный асфальт. Пьют на заправку портвейн «Молдавский» из тяжелой зеленой бомбы, затем идет по кругу беломорина с узбекским планом. И хохот, хохот, по малейшей причине и без. И разрастающийся на весь мир, гигантский, как строительный кран, далекий казарменный фонарь. И все хохочут, и только предательски дрожат коленки.

Теперь, после душа, он тихо начинался бредовой, тяжелой радостью, упивался своим петушиным геройством, ценою в копейку. Зато мышцы тела ныли в отместку, а чистые простыни лечили их легким прикосновением, как возбужденного шизофреника прохладный душ Шарко.

Луна залила кабинет спокойным светом, гравюрки и разные финтифлюшки по стенам обретали в нем особую четкость. С отцовским украшательством соседствовали его нововведения: драгунский палаш, за бесценок купленная по случаю у ханыги большая икона равноапостольного Владимира, отреставрированный друзьями портрет угрюмого человека в простенькой без виньеток золоченой раме. Серый домотканый халат, пояс с кистями чуть сбоку, лихие офицерские усы, слегка вниз в одну точку уставившиеся большие черные глаза навывкате, какая-то то ли тубетейка, то ли мурmolка на голове. Сработано явно крепостным в конце XVIII – начале XIX столетия.

Портрет выклянчил все у той же тетушки. По преданию, изображен на нем был кто-то из Дербетевых – роды Чигрин-

цевых и Дербетевых за долгую историю пересекались дважды. Воля внушил себе, что усач с картины – ушедший на покой хорватовский поручик, владелец таинственной Пылаихи. Картину он любил.

«Красный мурза» не раз выпрашивал картину у тетки, да безрезультатно: тетка любила Волю. Это приобретение долго грело Чигринцеву душу, как пусть малая, но победа над надменным Профессором.

– Что, брат, видишь, какие мы герои, – Воля вдруг с удовольствием прищелкнул пальцами, – давай, заходи в гости, поболтаем. Что там клад, есть он на самом-то деле? Признавайся!

Усатый в халате поднял выпученные глаза, вздохнул картинно и запросто шагнул из рамы вон, как через порог переступил.

Воля отпрянул, подтянул ноги, впечатался в спинку дивана, инстинктивно прикрылся одеялом до подбородка. Онемев, следил за пучеглазым.

Со стоном, как глубокий старик, тот опустился в черное отцовское кресло, медленно положил на колени тяжелые руки. Широкая загорелая кисть, толстые пальцы, короткие, покрестьянски остриженные ногти, вздувшиеся узловатые вены – руки, похоже, сильные, жилистые, привыкшие к труду.

Гость сидел в гробовой тишине. Не слышно было даже дыханья, лицо в тени, подбородок опущен на грудь. Воля завороченно следил, боясь неловким движением выдать свое присутствие – человек с картины, похоже, его не замечал.

Наконец поднялась голова, лунный свет пал на хищно блеснувший зрачок, зашевелились пергаментные сухие губы. Бормотание – сперва тихое, не разобрать ни слова – все нарастало и нарастало. Руки заелозили по коленям, оторвались от них, сновали уже в воздухе, чертя неясные фигуры. Пальцы дрожали. Гость то теребил кисти халата, то поправлял свой непонятный головной убор, движения нарушились, как у тяжелобольного. Бормотание переросло в сплошной поток звуков, ночной посетитель то ли сетовал на судьбу, то ли упрашивал кого-то – тон его речи был жалостливый, сбивчивый. Вдруг, как щелкнула внутри пружина, резко вскочил.

Принялся ходить по комнате от кресла к стене и назад. Так замордованный, давно заточенный в неволю зоопарковский волк, утратив ориентацию в пространстве и времени, знающий один инстинктивный приказ: бежать, семенит в вольере от стены к стене, вскидывает посреди пробежки пустые, слезящиеся глаза умалишенного на посетителей, но не замечает ни их, ни себя.

Душевное смятение завладело пучеглазым, слова слились в подобие воя – на губах проступила пена. Руки уже нервно сновали перед сном, как ночные мотыльки.

– Ты говоришь – за что, да? Нет! Все равно непоправимо, не-по-пра-ви-мо! – вдруг отчетливо произнес он, всхлипывая, повалился на пол, забился в припадке и затих.

Чигринцев словно проглотил язык, холодный пот проступил на лбу, но ни встать, ни даже повернуться на кровати он не смог – тело стало свинцовым, не подчинялось ему больше. Только глаза продолжали следить, и он отметил – рама пуста, значит, все это происходит на самом деле? И вот человек уже зашевелился, уже поднялся в полный рост, уже глядели на Волю затравленные, безумные, навывкате глаза, уже различал его, наливался гневом взор прищельца, а рука шарила, шарила по стене и, нащупав, сорвала с подставки драгунский палаш. Палец привычно скользнул по лезвию.

– Не точён, ну ничего, и таким достану, и снова достану, и завсегда достану, собака, – свистящим шепотом проговорил усатый, медленно приближаясь.

Воля не мог даже кричать.

– А-ах! – хрипло выдохнул ночной гость, вонзая палаш в диван, у самых ног Чигринцева. И, уже не соображая, иступленно принялся колоть, рвать матрас, подвернувшееся одеяло, но почему-то никак не мог достать Волю, словно незримая преграда ему мешала. – Убью, пес, сволота, убью, ничего не отдам!

О! Теперь речь его была вполне понятна! Скрежеща зубами, как японский самурай у Куросавы, он бил, бил, бил воздух, кровать, кресло – вопил истошно, так, что должны были слышать соседи, Татьяна в другой комнате. Он рубил, возбужденный, потный, напуганный более погибающего от страха Чигринцева. Хлопнула, разлетелась вдребезги лампочка, раскололась люстра, с грохотом просыпалось на улицу оконное стекло. В воздухе носилась матрасная вата.

– Крови, крови моей не получишь, собака, пес басурманский, пес, пес... – Его уже колотило.

В изнеможении он опустился на пол, отбросил ненужный палаш. Теперь он, кажется, молился, размашисто кидал кресты, бухался лбом в паркет.

– Мать Пресвятая Богородица, спаси мя, грешнаго! – выкрикивал сумасшедший портрет, хлопался лбом в пол и, кажется, рассадил себе голову в экстазе покаянного самоуничтожения.

Нет, что-то здесь было не так, слишком картинно. Чигринцев снова ощутил силу в руках.

Потянулся к ночнику, включил свет. Никакого погрома – он проснулся, выскользнул из хладного ночного кошмара. Перевел дух, еще раз пристально огляделся, отметил привычный портрет, покачал сокрушенно головой.

– Книжков меньше читать надо, – сказал вслух скрипучим голосом знакомой деревенской бабки. – От книжков один вред, глаза устают, давление на мозг увеличивается, вот и помрачение наступает. Да и врут они все, книжки, – жизнь богачей! – повторил и рухнул досыпать, на всякий случай оставив ночник невыключенным.



Разбудила его Татьяна. Она встала, сварила кофе, яйца, накрыла на стол, потом только постучала в дверь.

– Вставай, рыцарь верный! – прокричала бодро, но в комнату не зашла.

Воля не собирался напоминать о вчерашнем, Татьяна сама расставила точки над «Р»: подошла запросто, обняла, чмокнула в щеку.

– Волюшка, прости меня, дуру, ты – верный рыцарь, я не сомневалась, просто вчера сама была не своя, но что удивительно – помню...

Он перебил:

– Тсс! Проехали.

Раскрасневшаяся, свежая, но, кажется, несколько не смущенная, Татьяна была чудо как хороша. Чигринцев закинул руки за голову, похрустел суставами, потянулся, разогнал застоявшуюся кровь. Рванул в душ. Чистый, здоровый, с удовольствием приступил к завтраку, что подавался с наигранной серьезностью.

– Знаешь, ко мне сегодня предок приходил с портрета, крови жаждал. – И уже со смехом, под кофе с сигареткой, рассказал о ночном книжном кошмаре.

– Я спала как убитая, – призналась Татьяна, – но теперь, как подумую, нечасто, наверное, так спать придется. Теперь

все будет по-другому.

– Поменьше думай, делай дело, тебе не до дум будет. Кстати, как там Ольга?

– Сейчас позвоню. – Она отправилась в комнату к телефону. Воля мыл посуду. В дверь вдруг позвонили.

– Кого нелегкая? – удивленно буркнул Чигринцев. Часы показывали полвосьмого.

– Если я правильно чую, сие – Аристов, – сказала Татьяна кисло и отворила дверь.

Точно – на пороге стоял Аристов, невообразимо помятый, похмельный, небритый и злой.

– Я вчера узнал, – произнес он вместо приветствия, – Ольга сказала. Что теперь делать?

Шагнул в квартиру, странно как-то поглядел на них, отметил, что в халатах, и, не в силах побороть ревность, вскинулся на Чигринцева:

– Что домой не поехали? Ольга не в себе совершенно. – Надо было хоть в чем-то их упрекнуть.

– Ольга в порядке, – сухо констатировала Татьяна, – я с ней пять минут назад говорила, а ты вот, кажется, опять? Тебе чего-то не хватает, Виктор?

– Понимала бы. – Аристов махнул рукой, побрел на кухню.

Татьяна специально ушла в комнату переодеваться, бросив через плечо:

– Воля, поспешай, нам надо ехать.

– Что скажешь? – Тяжелый похмельный взгляд буравил Чигринцева насквозь.

– Что сказать, плохое дело – рак.

– Знаю и без тебя, – оборвал Виктор грубо. – Что у вас с ней?

– Иди-ка проспись. – Чигринцев не в силах был сдержаться.

– Я пойду, не хотите – не надо. Я тихими стопами, как у классика, исчезаю. Сегодня переболею, завтра встану на ноги. Хотел помочь, но если без меня, если нэ трэба, я удаляюсь. Я и правда сын алкаша, папаша все, что горит, потреблял. Павел Сергеевич меня вытащил, на ноги поставил, да... Хороший ты человек, Воля, только пустой. Дай десять тысяч взаймы. Завтра все прекратится, но клясться не стану. Я не клянусь, я просто: сказал – сделано!

Он был тупой и безвольный, как чурбак, хотя хорохорился, но так, для блезиру.

– На, змей, но гляди, времени сейчас нет, а то б голову оторвал. – Чигринцев сунул ему в карман бумажку.

– Покорнейше благодарю, аз есмь змей, упырь, сами себя сосем по капельке. – Аристов безнадежно покачал головой: – Душу, Воля, пропить нельзя, но залить можно, да-с!

Потной ладонью провел Чигринцева по лицу, но не добродушно, скорее зло, чуть толкнул подбородок, вышел за дверь и шагнул в подошедший лифт:

– Барышне скажи – велели кланяться.

Двери щелкнули. Он уехал.

– Дал? – Татьяна стояла у порога, вся дрожа от гнева.

– Куда ж я денусь, дал.

– А что он сдохнет – подумал?

– Он сейчас без опохмелки сдохнет, тебе не понять.

– Я все, Воля, понимаю. Мне одно не ясно: почему, когда плохо, когда горе, заявится такой вот Аристов, и его еще по-жалей. Почему всегда на Руси надо кого-то жалеть?

– Не знаю, – честно признался Чигринцев.

– А я знаю, – Татьяна даже топнула ногой, – потому что в этой стране жалость все заменяет. Все через жалость, и в этом болоте я больше не могу жить. Как только с отцом решится, уеду – к Ольге, куда угодно.

– Тут тебе Аристов – пара, он того же мнения, – не выдержав, пошутил Чигринцев.

Татьяна хмыкнула, обиделась и всю дорогу до дома молчала. И по пути в аэропорт разговаривала только с Ольгой. Зная наверняка, что она остынет, Воля посадил на переднее сиденье Ларри. С ним всегда было легко и просто.

Лариоша, как часто звали его свои в России, был, несмотря на стопроцентное русачество, истинный американец. Здоровый, большой, пунцовощекий, неунывающий на людях и до смешного часто жалующийся на депрессию в интимном семейном кругу. Американская депрессия – вид особой грусти, усталости, минутного разочарования – не имеет никакого отношения к клиническому российскому заболеванию и водкой не лечится; воспитанная в протестантском изоляционизме душа сама находит выход из тупика одиночества.

Вот и сейчас, покидая Россию, Ларри был сдержан и угрюмо хмурил чело. Поначалу говорили мало. Татьяна с Ольгой сидели обнявшись на заднем сиденье, щека к щеке. Воля не стерпел, первым нарушил гробовую тишину:

– Что, Лариоша, невесел? Радоваться, конечно, нечему, но перебором, так?

– Да, Воля, всем теперь будет тяжело, пойми, нам надо ехать – студенты ждать не станут.

– О чем ты? Я все понимаю.

– Не в одной Татьяне дело. Каждый раз, когда я уезжаю отсюда, грустно. – Ларри так беззащитно и искренне взглянул, что ясно было по лицу, как ему плохо. Откровенность только усугубляла задушевное признание.

– Приедете, в первые же каникулы прискачете назад, я вас

знаю.

– Знаешь, знаешь, – Ларри мягко улыбнулся, – но здесь, в России, я ощущаю непередаваемую радость и непередаваемую жалость. Ко всем вам, к стране, мне тут хорошо. Два года стажировки – я никогда их не забуду – мне многое объяснили.

– Таинственная русская душа? – Воля попытался перевести на шутку его патетику.

– Зря шутишь. Я много поездил по свету, есть страны погибшие, там ничего не изменишь – нищета на веки веков, например Египет, но Россия – почему, за что, какой рок вас преследует?

– Ларри, тема-то истрепанная, если б я выпил, может, и поддержал бы разговор, но по трезвянке – все это пустое.

– Россия не конченная страна, – упрямо повторил Ларри.

– Стоп. Россия – Америка, мы одинаково горды, одинаково лишены статистики, и всегда с налету, на одном чувстве норовим решить неразрешимое. Скажи еще, что нам необходима демократия.

– Конечно, иного пути нет.

– Ларри, а ты кто – русский, американец или русский-американец?

– Наверное, американец, хотя в России я становлюсь больше русским, как мне кажется.

– Тебе так только кажется, а в Европе ты кто?

– Россия тоже Европа, вы почему-то всегда это забываете.

– Расскажи мне еще о комплексе, который испытывает каждый образованный американец, находясь в Европе.

– Конечно. У вас такая долгая история.

– Вот именно, но что в результате побеждает – деньги или история?

– К сожалению, деньги.

– Нет, Ларри, побеждает человек, побеждает сам себя. То, что ему нужно, то хорошо, если это хорошо; если плохо, начинаются проблемы с совестью, и это – другая история.

– Не знаю, я честно не знаю. – Ларри грустнел на глазах.

– От истории никуда не денешься: прошлое всех породило, и Америку – большой остров диссидентов – тоже. Поэтому-то на него и рвутся отовсюду, инстинктивно стремясь сбежать от прошлого.

– Что меня всегда поражает, русские такие рисковые. Все бросив, едут в неизвестность, а сейчас не прошлые годы, есть возможность: купи билет, слетай, посмотри, прикинь, нет, как в омут головой.

– Во-первых, у тех, кто едет, такой возможности нет, а во-вторых – так только и можно, иначе сил не хватит. Потом, коли денежки заведутся, можно наезжать, Княжнин же умудрился, и сколько таких.

– Княжнин – настоящий пионер, а мы – третье, четвертое поколение, мы – разнеженные. Да и кто сказал, что Княжнин счастлив?

– Счастье, Ларри, понятие почти придуманное. Сумел же

он выстоять, создать дело, а потом не побоялся все продать и жить на проценты, так, по крайней мере, Аристов мне рассказывал. Здесь у него какое-то маленькое дельце, остатки.

– Не знаю, у нас не принято спрашивать. Княжнин, конечно, удачливый бизнесмен, но не думаю, что только деньги его сюда тянут.

– Может быть, хотя я считаю, что важнее всего деньги, а даже если и нет – тут он уже не свой. Не столько мне не свой, сам себе не свой, понимаешь?

– Да, он мне подобное говорил, – признался Ларри, – и мне его жалко.

– Ладно, – резко оборвал Чигринцев, – много других имеется, нуждающихся в сострадании.

– Наверное, – кивнул Ларри. Он совсем скис и замолчал. Подъехали к аэропорту. Выгрузились. Посадку еще не объявляли. Ларри с Волей принялись бродить по зданию, сестрам хотелось побыть одним. Какая-то женщина в добротном кожаном пальто, с золотыми сережками в ушах, держа за руку девчоночку лет пяти-шести, одетую тоже вполне прилично, вдруг отделилась от толпы, направилась прямо к ним и с ходу принялась канючить: «Добрые люди, помогите на билет, нас вот с дочей ограбили, кошелек стащили, даже купить не на что». Лицо ее умильно скривилось. Девочка ту-по глядела в пол. Ларри незамедлительно полез в карман, но Воля его осадил.

– Даю полминуты и вызываю милицию, я здесь частый



гость, – бросил он попрошайке.

Женщина, не изменив лица и позы, медленно принялась пятиться и растворилась в толпе.

– Ларри, ты всегда подаешь нищим в Америке? – спросил с ехидством Воля.

– Нет, пожалуй, редко, но здесь... – Ларри смутился.

– Ладно, не обижайся, я хотел только, чтобы ты понял, это профессионалка, – постарался загладить неловкость Воля.

– А как ты думаешь, Ольге легко в Америке? – спросил вдруг Ларри, отводя взгляд.

– Не знаю, – протянул Воля, – не задумывался, если честно, она же с тобой.

– Со мной-то со мной, но не забудь – у нас нет детей и не будет никогда. Ей плохо, я знаю. Но и здесь нехорошо. Почему?

– Потому, старина, что теперь полагается выпить, попечалиться на судьбу и разойтись довольными, согретыми, уверенными, что не один ты такой на белом свете, но я за рулем, а у тебя жена, отец которой, быть может, сейчас умирает в больнице. Всякое случается, правда?

– Да, да, – обреченно поддакнул Ларри. Он совсем впал в хорошо знакомую депрессию, и Воля проклинал себя, что занудил разговор, тогда как надо было стараться его разве-селить. Они слонялись без дела, не решаясь подойти близко к сестрам – те сидели на скамеечке отрешенные и покинутые.

Выпили по стаканчику «пепси», пробежали глазами по витринам валютного магазинчика. Платки, ложки, матрешки, хрусталь, майки с российской символикой, ряды бутылок, видеотехника. Какая-то живая мысль промелькнула вдруг в глазах у Ларри.

– Зайдем? – с просящей интонацией прошептал он.

– О'кей, пошли, почему бы и нет? – Воля толкнул дверь.

Ларри оглядел горку телевизоров, ткнул пальцем в портативный корейский «Голд стар».

– Вы принимаете карточки «Америкен экспресс»?

– Конечно. – Продавщица вытащила из-под прилавка коробку. – Триста двадцать долларов.

– Отлично, я беру. – Ларри протянул ей карточку.

– Постой, ты спятил, зачем тебе? – завопил Воля.

– Потом, потом... – От волнения руки Ларри тряслись.

Девушка быстро прокатила карточку в аппарате.

– Спасибо! – Ларри схватил коробку, протянул ее Воле: – Возьми, я прошу, на память, надо, это надо, Воля.

Воля посмотрел в его глаза и так, с коробкой вместе, большого и смущенного, обнял и крепко поцеловал.

– Эх ты, Америка, спасибо, Лариоша!

Тот задохнулся от радости. Лед был сломлен, настроение переменялось в момент – они захохотали и в обнимку, вдвоем держа коробку перед собой, вышли из магазинчика, сопровождаемые счастливыми улыбками продавщиц.

Ольга и Татьяна сперва не поняли, но через минуту и им

передалось нервное веселье, счастье минуты, после которой хоть потоп, и они уже смеялись, особенно когда Воля пропел: «Раз Америка России подарила пароход. Две трубы, колеса сбоку и ужасно тихий ход!»

И смеялись, провожались, обнимались бесконечно, Ольга и Ларри плакали, но уже не тяжелой грустью, а как после покаяния, сладкой печалью сердца. Воля махал руками, смешно подпрыгивал, до тех пор пока они не скрылись из виду за стеклянной дверью.

Тогда только он обернулся к Татьяне. Та была взволнована, печальна, но, слава Богу, не угрюма.

– Нищие, между прочим, тоже в ответе за богатых, – глубокомысленно изрек Чигринцев.

– Дураки, какие вы дураки, мужчины, – сказала она ласково и потянула Волю к выходу.

Первое, что сделала Татьяна по возвращении домой, позвонила в больницу. Разговаривала с самим Цимбалиным. «Мочеполовой ас», кажется, ничего не скрывал, говорил как есть.

– Папе лучше, он очнулся! – сияя закричала Татьяна, бросая трубку. – Воля, Цимбалин считает, что папу вытянут. То есть как они всегда: сто процентов мы дать не можем, больной тяжелый, но... – Она ликовала. – Очнулся, и теперь дело идет на поправку.

Воля облегченно вздохнул:

– Пей, вольница, гуляй, веселись?

– Нет, нет, но Цимбалин почти уверен, что папа выкарабкается. Мы особенно должны быть благодарны доктору Самвеляну, реаниматору, он от него ни на шаг не отходил. Это тот чернуший! Благодарна? Да я его озолочу!

– На то и намекалось, – заметил Чигринцев презрительно.

– А что? Почему нет? Во-первых, мы с Цимбалиным откровенно договорились, что все будет оплачено; во-вторых, часть отделения – коммерческая, само собой я куплю папе отдельную палату, и в-третьих – врачи во всем мире получают хорошие денежки, и только у нас...

– Только у нас они всегда получали отличные денежки, – перебил ее Чигринцев, – не все, конечно, но профессор Цим-

бабин никогда не страдал от бедности. Павел Сергеевич вечно ему конвертик в халат совал после консультаций.

– Воля, на жизни не экономят! – решительно заявила Татьяна и умчалась в свою комнату. Вернулась она преображенная: в вечернем черного бархата платье, в туфлях на высоком каблуке. Отцовское кольцо облегло шею.

– Лилея! – вздохнул Чигринцев. – Что тебе взбрело в голову?

Татьяна посмотрела с влекущим кокетством, чуть раскосыми, красивого дербетеvского разреза глазами. Расправив плечи, продефилировала на середину кухни, слегка коснулась рукой стола и, глядя в окно, понимая, что Чигринцев неотступно следит за ней, эффектно произнесла:

– Александр Сергеевич дает добрый совет: «Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть!» Хочешь шампанского?

– Мерси, богиня, я от вида вашего одного пьян немало, – откликнулся Воля.

– Тогда у старости отыдем все, что отыметсЯ у ней, – прошептала Татьяна. – Я все знаю, – добавила серьезно, – не гляди так, я не буду реветь. Никогда раньше не жила одна... папа вернется, я знаю. Знаю, что рак неизлечим, но не хочу сейчас думать об этом. У меня к тебе просьба: расстегни, пожалуйста, кольцо, – она повернулась спиной, – там такой гвоздик хитрый.

Пришлось повозиться – замок был простой, но очень ту-

гой, добротный. Татьяна терпеливо ждала. Наконец цепь неограниченных рубинов распалась, Татьяна растянула ее на кухонной скатерти.

Пять рубиновых кабошонов в тяжелом серебре – центральный большой, далее уменьшаются. Сколько дадут, как думаешь?

– Хочешь продать? – Чигринцев с интересом смотрел на нее. – Профукаешь, а потом?

– Во-первых, мне неоткуда взять деньги на лечение. Нет, не думай, сестрица сама навязывала, просила, но я отказалась. Пока папа здесь и я с ним, я за него отвечаю, значит, и плачу, тут у нас с Олей старые и, быть может, глупые счеты. Во-вторых, это камни папины, всю жизнь он за них цеплялся, как всю жизнь цеплялся за несуществующую Пылаиху. Разве ты не понял? Он помешан на прошлом. О, ты его спроси, он тебе ответит, как все они говорят: мы ни о чем не жалеем, это было не наше, принадлежало народу, все давно прошло. Ах, майн либер Августин, словом. Но он этим жил и пока живет. Он не узнает. Я же жить тем, чего не видала и не знаю, не хочу и не буду. Понял?

– Да...

– Наш век – торгаш, знаешь, в сей век железный без денег и свободы нет! Ясно я выражаюсь?

– Куда как...

– То-то. Воля, все эти побрякушки – туфта. Кроме того, ты же поедешь в Пылаиху, добудешь клад, и опять заживем на

чужие, а? Мы доживаем чужие, чужое, а жить надо на свое, свои. Так что дуй в скупку, сколько дадут – бери не задумываясь. Да и времени нет – платить надо скоро. Может, что и на конфетки останется. Должно остаться.

– Ты серьезно?

– Очень, ты не понял?

– Понял, но жалко.

– Жалко знаешь где? В пчелкином афедроне, как выразился бы Александр Сергеевич Пушкин, вперед! – Она даже подтолкнула его и вложила ожерелье в руку, с силой впечатала.

– Танька, прекрати, да найдем мы денег. – Воля предпринял последнюю попытку.

– Нет! – сказала она строго, и Чигринцев вдруг ощутил волю, столь, казалось, Татьяне несвойственную.

Она поднялась, картинно блеснула глазами, ушла в комнату и вернулась вскоре переодетая, обычная, в джинсах и легкой маечке с жизнеутверждающим американским призывом: «Не волнуйся, будь счастлив – хунта побеждает!» Встала к плите, сготовила на скорую руку поесть, с аппетитом накинулась на мощную шпикачку. Чигринцев последовал ее примеру.

– Ну что – поедешь? – спросила, хитро подмигнув.

– Куда деваться, уговорила, боюсь только, сегодня поздно, полвторого.

– Как раз обеденный перерыв кончается, но я не о том, я

– о Пылаихе.

– А-а... – Он многозначительно попел головой. – В гости к Вурдалаку Ивановичу? А ты веришь?

– Ни во что я не верю, а вдруг? Папа – тот верит, я знаю. Не столько даже верит, сколько всю жизнь хотел верить.

– Почему же сам не искал? Или правда его ведьма на помеле отвадила?

– Ведьма не ведьма, но я от мамы еще эту историю слышала. Нет, думаю, он боялся не найти.

– Брось, Татьяна, какая-то романтика. Человек, столько переживший, и, прости, в такие годы...

– Вот именно что вы его не знаете, а он всякий бывает. – Татьяна отодвинула пустую тарелку. – Ну а теперь давай за дело! Позвони мне вечером, как там, ладно?

– Конечно!

– И завтра я еще имею на тебя виды. Если продашь, поедем совать взятку, а потом вали на все четыре стороны, но лучше всего – в Пылаиху, в деревню: свободною душой закон благословить, роптанию не внимать толпы непосвященной! – Она выпроводила его за дверь, чмокнула по-родственному в щечку на прощанье, как благословила.



Колье продалось легко, но и не без приключений. Чигринцев подъехал к «Жемчугу» на Олимпийском проспекте на удачу, более чем уверенный, что за день такую редкую вещь не спулить, зная к тому же понаслышке о бесконечных очередях в скупке. Действительно, хвост был бесконечный – последний желающий числился под номером 938. Чигринцев решил сперва хоть оценить изделие – оценщиков было двое, и к ним, странным делом, стояло всего двое же посетителей.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.